А. И. ПОЛЕЖАЕВ

Стихотворения
Поэмы




29/V-82 год.







А. И. ПОЛЕЖАЕВ

Стихотворения
Поэмы



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1981

Р1
П49

Составление, предисловие,
подготовка текста и примечания
Вл. МУРАВЬЕВА

Художник А. ЛЕПЯТСКИЙ

Полежаев А. И.

П49 Стихотворения и поэмы / Сост. Вл. Муравьев.— М.: Моск. рабочий, 1981.—288 с.

В книгу вошли избранные произведения известного русского поэта XIX века А. И. Полежаева, а также воспоминания современников о нем.

П $\frac{70401-021}{М172(03)-81}$ 215—81. 4702010200 Р1

СТИХИ И ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАЕВА

1

«Поэзия его тесно связана с его жизнию,— писал о Полежаеве В. Г. Белинский.— Все лучшие его произведения суть не иное что, как поэтическая исповедь его безумной, страдальческой жизни».

На современников стихи и человеческая судьба Полежаева производили равное по силе впечатление. Интерес к стихам поддерживался интересом к самому Полежаеву, а интерес к Полежаеву усиливался тем, что он был поэтом.

Белинский объяснял это тем, что Полежаев «был явлением общественным, историческим».

Общественная жизнь и творческий путь Полежаева продолжались всего двенадцать лет — с 1825 по 1837 год. Это была решающая, переломная эпоха в истории России, ознаменовавшаяся началом революционно-освободительного движения в стране, эпоха подготовки восстания декабристов, самого восстания и расправы над восставшими; затянувшаяся на десятилетия борьба правительства с революционным движением, свободомыслием и прогрессом в общественных отношениях. Это была эпоха тайных обществ и тайной полиции, подспудных революционных мыслей и правительственной аракчеевщины, расцвета литературы и ужесточения цензуры, стремления передовых людей к общественной жизни и жестокого подавления всякой гласности. Николай I, сажая людей в тюрьмы, отправляя в ссылку и потом запрещая упоминать публично даже их имена, думал, что тем самым он кардинально и навсегда искореняет их и их дело. Люди пропадали в крепостях, гибли в далеких сибирских острогах, но память в обществе о них оставалась, и отсутствие официальных известий об их судьбе порождало множество разнообразных легенд. Это была эпоха слухов и легенд: легенд о декабристах, о неведомых крестьянских заступниках, о благородных разбойниках, о далеких — «счастливых» — странах и землях: стране Беловодье, Ореховой земле и других, обо всех, кого карало и преследовало николаевское правительство. Имя Полежаева также было окружено не только сочувствием общества, но и многочисленными легендами.

Белинский знал, что многие рассказы о Полежаеве, распространявшиеся и после его смерти, представляют собой если не прямой вымысел, то до такой степени искаженные многостепенной устной передачей сведения, что их ни в коей мере нельзя считать фактами, а следует отнести к разряду слухов. Поэтому в статье 1842 года, посвященной Полежаеву, он выбирает единственно достоверный источник: «В нашем суждении о Полежаеве мы будем основываться не на каких-нибудь посторонних и сомнительных свидетельствах, а на его собственных поэтических признаниях».

Но, анализируя стихи Полежаева, Белинский постоянно ссылается на факты биографии поэта, стоящие за ними. Без биографии Полежаева нет его поэзии, так же как без его поэзии нет и его биографии.

Белинский многого не мог сказать о Полежаеве из-за цензурных соображений, многого о его жизни он просто не знал. Но он чутко и проницательно наметил путь к исследованию и пониманию Полежаева; все позднейшие исследователи творчества поэта — как дореволюционные, так и советские, обогащая свои работы новыми фактами, неизменно рассматривают творчество поэта в единстве с его биографией, с его судьбой, отразившей в себе судьбу целой эпохи России.

2

Точная дата и место рождения Александра Ивановича Полежаева неизвестны, никаких официальных документов об этом не сохранилось. Исследователь жизни и творчества Полежаева И. Д. Воронин путем косвенных и довольно убедительных предположений приходит к выводу, что поэт родился 30 августа (11 сентября) 1804 года в принадлежавшем тогда помещикам Струйским селе Рузаевке Пензенской губернии (ныне Мордовская АССР) и был записан в церковной книге этого села как сын крестьянина Герасима Афанасьева и его законной супруги Марьи Климовой.

В действительности же Полежаев был сыном одного из владельцев Рузаевки Леонтия Николаевича Струйского и крепостной Аграфены Ивановны Федоровой. Мать Струйского (отец его к тому времени умер) была обеспокоена рождением незаконнорожденного внука, так как ее старший сын Юрий Николаевич тоже имел ребенка от крепостной и намеревался его усыновить. Бабушкой двух внуков от крепостных Струйская — столбовая дворянка, находившаяся в родстве с князьями Шуйскими,— никак не хотела быть. К тому же тут примешивались материальные расчеты всей семьи Струйских. От мальчика постарались поскорее избавиться. Сделано это было, как утверждает предание, «вопреки воле Леонтия Николаевича». Аграфене Ивановне дали вольную и с соответствующим приданым выдали замуж за мещанина

города Саранска Ивана Ивановича Полежаева. Так сын Струйского стал Александром Ивановичем Полежаевым — мещанином города Саранска.

В семье отчима А. Полежаев прожил около пяти лет. В 1808 году И. И. Полежаев пропал без вести, и Аграфена Ивановна с Александром и младшим сыном Константином вернулась в имение Струйских. Она умерла два года спустя, ее сыновья воспитывались в семье ее родной сестры Анны — дворовой Леонтия Николаевича и ее мужа-сапожника.

Детство Александра Полежаева прошло в людской, при господском доме. Впоследствии свое первоначальное образование он изобразил так:

«...родитель
Его до крайности любил,
И первый Сашеньки учитель
Лакей из дворни его был.
...на балалайке
В шесть лет он «барыню» играл,
И что в похабствах, бабках, свайке
Он кучерам не уступал».

Кроме влияния людской и учителя-лакея огромное влияние на него имела общая атмосфера семьи Струйских — среда, как определяет ее Н. П. Огарев, «необузданного помещичества, которое с дворней пьет и дворню бьет». Струйские были типичными крепостниками, жестоко обращавшимися с крепостными; побои, кулачная расправа, самодурство — всё это мальчик наблюдал изо дня в день.

Но одновременно с дикостью помещичьих нравов в доме сохранялась память об отце Струйских — деде Полежаева — Николае Еремеевиче Струйском — колоритной фигуре, бездарном стихоплете, но самозабвенно любившем литературу. У себя в селе он устроил типографию и печатал свои оды, элегии и эротоиды (так он называл стихи на любовные темы) роскошными изданиями.

Поэт начала XIX в. И. Долгорукий оставил интересные воспоминания о Струйском, рисующие одну из граней того же «необузданного помещичества». «Стихи свои он писал обязательно на «Парнасе» — так называлась комната во втором этаже его роскошного двухэтажного каменного дома, отделанного мрамором, в которой стояли статуи Аполлона и 9 муз. Здесь был устроен нарочно поэтический беспорядок: рядом с куском оплывшего сургуча лежал бриллиантовый перстень, старый башмак и хрустальный бокал. На всем этом лежал густой слой пыли и потому... как объяснял Струйский, что пыль — лучший сторож — по следам на ней сразу видно, не хозяйничал ли кто в его отсутствие на «Парнасе». Сюда, на «Парнас», допускались только избранные посетители». С крепостными Струйский был так жесток, что всегда ходил с оружием и не спал ночами, боясь покушения.

Стихи Струйского у современников вызывали насмешки, на его смерть Г. Р. Державин сочинил шуточную эпитафию:

«Поэт тут погребен: по имени — струя,
А по стихам — болото...»

Однако, несмотря на все это, Н. Е. Струйский привнес в семью литературные интересы. Не только Полежаев, но и его двоюродный брат (сын Юрия Николаевича от крепостной и усыновленный им) Дмитрий Юрьевич стал поэтом, в 1820—1840-е годы он печатался под псевдонимом Трилунный.

В 1816 году Л. Н. Струйский отвез Александра Полежаева в Москву и отдал учиться в частный пансион Я. И. Визара. В пансионе Полежаев проучился четыре года и затем, в 1820 году, поступил вольным слушателем в Московский университет на словесный факультет.

Пансион Визара был тесно связан с Московским университетом, преподавание в нем велось на довольно высоком уровне, воспитанники изучали языки, математику, историю, географию, закон божий, им преподавались рисование, фехтование, танцы. В пансионе Полежаев начал писать стихи:

«А что касается по-русски,
То даже рифмы стал кропать».

В университете Полежаев пробыл шесть лет. Это были годы, в которые определилось его мировоззрение и литературное призвание. За год до выпуска, в 1825 году, он начал выступать в печати, опубликовав в декабрьской книжке «Вестника Европы» стихотворение «Непостоянство» и перевод из Оссиана «Морни и тень Кормала».

Московский университет 1820-х годов представлял собой одно из самых демократических высших учебных заведений России, в него принимались лица всех сословий (кроме крепостных). «Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера,— рассказывает об этом времени А. И. Герцен,— быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах... Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами».

Герцен отмечает также решающее влияние на умственное развитие студентов самой студенческой среды: «Больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений...» В политическом же отношении взгляды московских студентов характеризует утверждение Герцена: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым».

Большое место в интересах студентов занимала литература. Московский университет имел давние и прочные литературные традиции; имена М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, М. Н. Муравьева, В. А. Жуковского и других известных поэтов были тесно связаны с ним — одни преподавали в нем, другие учились; при университете существовали литературные общества, издавался журнал; в годы учебы Полежаева лекции профессора словесности А. Ф. Мерзлякова собирали многочисленную студенческую аудиторию, причем приходили на них студенты со всех факультетов.

Мерзляков как теоретик выступал проповедником классицизма и его строгой рационалистической поэтики. Но он сам был талантливым поэтом, замечательные стихотворения которого «Среди долины ровныя», «Чернобровый, черноглазый», став народными песнями, поются до сих пор, первая же из них и тогда была «любимой студенческой песнью». Будучи в теории классицистом, в поэтической практике Мерзляков был сентименталистом и романтиком, тем самым в своем поэтическом творчестве следуя живым тенденциям развития русской литературы.

Но и лекции Мерзлякова отнюдь не были сухой схоластикой. «Лекции Мерзлякова состояли, по большей части, в критических импровизациях,— вспоминает один современник.— Он к ним не готовился. Приносил на кафедру Ломоносова или Державина, развертывал. Случа́й открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. Все зависело от настроения. В критике и профессоре сказывался поэт по призванию. Эти импровизации, приводившие иногда в восторг его слушателей, запечатлевались в их памяти. Светлая мысль, искра чувства электрически оживляли всю аудиторию».

Литературные склонности студентов поощрялись, и для развития поэтического таланта Полежаева в университете существовали все условия — одобрение преподавателей (между прочим, сохранилась рукопись Полежаева с правкой Мерзлякова) и заинтересованное, пристальное внимание к его стихам со стороны товарищей.

Во время пребывания в университете произошли большие изменения в материальном положении Полежаева. Отец, который содержал его, в эти годы попал под суд за убийство крепостного, был лишен дворянства, сослан в Сибирь и там умер; его родственники и наследники высылали Полежаеву средства на жизнь нерегулярно, так что однажды он даже вынужден был, не имея средств внести плату за обучение, подать прошение об исключении из университета; к счастью, дело уладилось, и заботы о нем взял на себя один из братьев отца — Александр Николаевич, о котором с такой любовью и благодарностью писал Полежаев в поэме «Сашка» и других произведениях.

Полежаев, числясь мещанином города Саранска, был типичным разночинцем и принадлежал к нарождающему-

ся и бурно развивающемуся в двадцатые — тридцатые годы слою разночинской интеллигенции, которой в последующие десятилетия предстояло занять ведущее место в умственной и общественной жизни страны.

Одновременно с Полежаевым в университете учились (правда, на другом факультете) его двоюродные братья, которых старший Струйский к тому времени усыновил и дал им свою фамилию. Они находились совсем в ином положении. С баричами-братьями у Полежаева сложились неприязненные отношения. В студенческой «компактной массе товарищества» все-таки существовали социальные и имущественные перегородки, как они существовали во всем государстве. Полежаев остро их чувствовал; он обладал ярко выраженным чувством собственного человеческого достоинства, поэтому так больно его ранила двусмысленность его положения, жалость оскорбляла его и доставляла страдания.

«Безжалостный, свирепый взор,
Привет холодный состраданья —
Всё новой пищей для страданья,
Всё новый, вечный мне укор!..»

Ближайшими товарищами Полежаева в университете были такие же, как он, разночинцы — дети мещан, мелкого чиновничества, духовенства, которые должны были пробивать дорогу в жизни собственными силами.

Документы свидетельствуют, что Полежаев учился успешно и намеревался в будущем служить, как говорили тогда, «по ученой части», то есть готовился к преподавательской деятельности. Вообще, круг университетских товарищей Полежаева дал впоследствии ряд известных ученых — филологов и историков.

Серьезные занятия науками не мешали бурной внутренней жизни студенческого товарищества. Разгульные вечеринки, попойки, драки, схватки с полицией считались непременной частью студенческой жизни, ими бравировали, студент-буян, бретер пользовался и восхищением и уважением товарищей. Полежаев отдал дань и этой стороне студенческого быта и был не последним в студенческих дебошах.

Получает он известность и как поэт. Особенной популярностью пользуются среди студентов его шуточные поэмы «Сашка», «Рассказ Кузьмы», «Девичье поле», описывающие с полной откровенностью в выражениях пьяные похождения студентов в разных злачных местах.

Университетское начальство обратило внимание на талантливого студента. При выпуске Полежаев получает высшее для выпускника звание действительного студента, ему поручают написать оды для торжеств по поводу празднования дня основания университета и выпускного акта.

3

В печати Полежаев выступил со своими стихами в конце 1825 — начале 1826 года, но, как сообщает Белинский, «они были знакомы Москве еще прежде, равно как и имя их автора».

Начало 1820-х годов в русской литературе характеризуется победой романтизма, и Полежаев в первых же своих произведениях является романтиком. Но подобное определение страдает однобокостью. Творчество любого более или менее значительного поэта никогда не укладывается в рамки одного какого-либо литературного направления, оно обычно содержит в себе лишь какие-то важные, определяющие его черты, одновременно включая в себя элементы предшествующих школ и направлений и начатки будущих.

Полежаев — младший современник Пушкина; его творчество сложилось под влиянием того же круга авторов, что и Пушкина, но к этому кругу еще прибавилось и влияние самого Пушкина.

Русская литература XVIII века — М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, В. П. Петров, В. И. Майков — для Полежаева еще были живой, читаемой, эстетически воспринимаемой литературой, их имена и строки, на которых лежит печать их поэтики, встречаются в стихах Полежаева систематически.

«Глашатаи бессмертной славы,
Пророки северных чудес,
Поют Державин, Ломоносов»,—

пишет он в оде «Гений». Строки

«Суворов здесь — и Альпов нет!..
Кутузов там — молчит геенна...» —

прямо перекликаются со стихотворением Державина «Снигирь», написанном на смерть Суворова, с его вопросом: «С кем мы пойдем войной на Геенну?» Отзыв его же оды «Фелица» совершенно явен в стихотворении «Кремлевский сад»:

«Мечтаю, грежу, как во сне...
Преображаюсь в полубога,
Сужу решительно и строго
Мирские бредни, целый мир,
Дарую счастье миллионам...»

Еще более сильно влияние на Полежаева поэтов-сентименталистов и ранних романтиков: Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского и их последователей. Стихи вроде

«Свершилось Лилете
Четырнадцать лет;

Милее на свете
Красавицы нет»;

или же:

«Исчезли, исчезли веселые дни,
Как быстрые воды умчались;
Увы! но в душе охладелой они
С прискорбною думой остались»,—

написаны в подобном сентиментально-романтическом ключе.

Шуточные поэмы Полежаева самым тесным образом связаны с традицией русской ироикомической поэмы XVIII века: и в первую очередь с поэмами В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (это о ней писал А. С. Пушкин: «Читал охотно «Елисея», / А Цицерона не читал») и В. Л. Пушкина «Опасный сосед».

Осваивая опыт предшественников, Полежаев ищет свой собственный путь в литературе. Поэма «Сашка» возникла как противопоставление только что вышедшей в свет первой главе «Евгения Онегина». Герою пушкинского романа в стихах — дворянину, светскому человеку — Полежаев противопоставляет своего героя — студента-разночинца. Тут же содержится совершенно определенная социальная позиция, спор о том, кто же более значим в общественной жизни страны и тем самым имеет большее право на внимание читателя. От поэм В. И. Майкова и В. Л. Пушкина поэма Полежаева отличается ясной общественно-политической тенденцией, он следует им в демократизации содержания и стиля, но отвергает сам принцип развлекательности во имя развлекательности.

Герой поэмы Полежаева предстает перед читателем человеком свободолюбивых, гражданственных убеждений, врагом существующего общественного порядка, основанного «на обманах / Или духовных, иль мирских», и официальной религии:

«Черты характера сего:
Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьею никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажду вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах».

Полон политического радикализма авторский призыв-вопрос:

«Но ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!

Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?»

В ответах декабристов на вопрос о том, что влияло на формирование у них революционных взглядов, часто встречаются указания на вольнолюбивую поэзию. В университете среди студентов, свидетельствует Герцен, «тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями». Среди запрещенных стихов первое место занимали произведения К. Ф. Рылеева. Увлеченность поэзией Рылеева, ее идеями и художественной стороной проходит у Полежаева во всем его творчестве: в дальнейшем по образцу рылеевских дум он построит стихотворение «Видение Брута», в целом ряде стихотворений найдут отражение мысли и образы рылеевской поэзии. Но и ранние произведения Полежаева показывают, что уже в 1825 году он знал не только опубликованные стихотворения Рылеева, но и неопубликованные. В «Гении» нетрудно узнать строки, навеянные знаменитой сатирой Рылеева «К временщику»:

«Он был злодей», гласит потомство;
И вечный, гибельный позор
Накажет лесть и вероломство!..»

Была известна Полежаеву и запрещенная цензурой ода Рылеева «Гражданское мужество». Вслед за Рылеевым он называет «ложным гением» и «злодеем» «знаменитого в кровавых битвах героя» и противопоставляет ему «преобразителей»:

«Как звезды светлые, в веках
Горят благих мужей деянья:
Катонов, Долгоруких прах
Кропим слезой воспоминанья!..»

Поэтический талант Полежаева только еще начал по-настоящему развертываться, но уже получил признание: его много печатали, в феврале 1826 года он был избран членом Общества любителей российской словесности.

4

Одной из главных причин декабризма Николай I считал идеологическую направленность образования, под влиянием которого формировались политические взгляды молодежи. Поэтому он был убежден, что учебные заведения являются главным рассадником вольномыслия, и первый среди них — Московский университет. Убеждение царя поддерживали поступавшие доносы добровольных доносчиков и платных агентов.

В 1826 году по одному из доносов начальник главного штаба Дибич, в обязанности которого входил политический сыск, дает поручение флигель-адъютанту полковнику Строганову «осмотреть» Московский университет и Благородный пансион при нем, так как «дошло до сведения государя императора, что между воспитанниками Московского университета, а наипаче принадлежащего к оному Благородного пансиона, господствует неприличный образ мыслей». Тогда же жандармский полковник И. П. Бибиков представляет специальную записку «О Московском университете», в которой пишет: «Профессоры знакомят юношей с пагубной философией нынешнего века, дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищей. Вследствие таковой необузданности, к несчастью общему, видим мы, что сии воспитанники не уважают Закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти». А далее шли строки, непосредственно касающиеся Полежаева: «Я привожу здесь в пример университетского воспитания отрывки из поэмы московского студента *Александра Полежаева* под заглавием: «Сашка» и наполненной развратными картинами и самыми пагубными для юношества мыслями».

Бибиков привел самые острые в политическом отношении строфы, где автор сообщает, что его герой «не верит... Исусу» и где содержится криминальный вопрос-призыв к «Отчизне глупой»:

«Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?»

Когда было получено донесение Бибикова, Николай I находился в Москве, куда он прибыл на торжественную церемонию коронации.

По приказу царя Полежаева доставили к нему в Чудов дворец ранним утром, в шестом часу, 28 июля. (В этот же кабинет полтора месяца спустя будет доставлен и привезенный из ссылки Пушкин.)

А. И. Герцен в «Былом и думах» воспроизвел рассказ Полежаева об этом дне, так круто изменившем судьбу поэта.

Николай I увидел в поэме Полежаева *«следы, последние* остатки» только что ликвидированного заговора и «для примера другим» распорядился подвергнуть Полежаева наказанию: определить его в военную службу рядовым.

Полежаева отвезли в штаб корпуса и сдали дежурному при предписании, в котором была изложена императорская воля: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил уволенного из студентов с чинами 12 класса Александра Полежаева определить унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, иметь его под самым строгим надзором и о поведении его ежемесячно доносить начальнику Главного штаба Его Величества».

Определение в солдаты было для Полежаева трагедией, ломающей всю его жизнь, отнимающей у него пра-

во заниматься тем, к чему он готовился многие годы учебы и к чему его влекло. К тому же он не имел и физической подготовки, чтобы переносить тяжелую солдатскую муштру.

5

Началась солдатская, полная ограничений и унижений человеческого достоинства жизнь Полежаева.

Правда, он считался не просто солдатом, а «разжалованным в сие звание за проступки из офицеров», и это давало ему некоторые неофициальные поблажки со стороны начальства, которое, как и сам он, полагало, что в скором времени последует его производство в офицеры, поскольку вина его в их глазах была весьма незначительна. В феврале 1827 года был опубликован указ сената об освобождении Полежаева, как окончившего университет, из податного сословия, совет университета официально присвоил ему звание действительного студента, что давало ему право на личное дворянство. С этой переменой Полежаев связывал и производство в офицеры. Он писал прошения царю, но ответа не получал. Тогда в июне 1827 года он решает сам ехать в Петербург, полагая, что какие-то его недоброжелатели скрывают от царя его письма. Полежаев убежал из полка, но по пути пришел к мысли, что в молчании царя виноваты не какие-то недоброжелатели, которых у Полежаева в Петербурге просто не было, а сам царь; спустя шесть дней Полежаев возвратился в полк. Тотчас он был арестован и за побег предан суду. На донесение военного суда о проступке Полежаева Николай I ответил тотчас же. Суд приговорил Полежаева к лишению личного дворянства и разжалованию из унтер-офицеров в рядовые с выслугой. Царь ужесточил наказание: «С лишением личного дворянства и без выслуги». Этим приговором он закрывал Полежаеву путь к офицерскому званию и тем самым — к свободе.

Резолюция Николая I на приговоре Полежаева датирована 4 сентября, а 3 сентября следственная комиссия по раскрытому в Москве «злоумышленному обществу» — тайному кружку братьев Критских поднимает вопрос о привлечении к следствию Полежаева.

Кружок братьев Критских в основном состоял из студентов Московского университета. Следственная комиссия установила, что «злоумышленное общество» имело «во-первых, замысел преобразовать государство, соединенный с намерением покушения на священную жизнь государя императора; во-вторых, вольные суждения». Обвинение очень серьезное, но, поскольку члены общества не имели никаких конкретных планов практических действий и преступление их заключалось только в разговорах, которые «являются порождением буйной молодости и необузданного воображения, распаленного чтением вольномысленных сочинений и отчасти примером прежних возмутителей», следствие занялось расследованием,

откуда члены кружка получали «вольномысленные сочинения» и каким образом распространяли.

И тут-то в делах следствия появилось имя Полежаева. Один из участников кружка сообщил, что одну из агитационных песен декабристов, которую приписывали Рылееву, он «услышал... от студента Полежаева». Полежаева арестовали. На допросе он не отрицал, что когда-то слышал эти стихи, возможно, и сам читал их кому-то, но категорически отрицал, что знал имя их автора, понимая, что последнее признание может существенно отягчить его вину.

Связь Полежаева с кружком для следствия была очевидна, поскольку с большинством его членов он был хорошо знаком по учебе в университете. Но судьбу его решило «высочайшее повеление», которое предписывало соблюсти законность в решении суда: «Узнать, когда стихи сочинены и читаны, если до определения его на военную службу, то не подвергать его дальнейшей ответственности, буде уже после, то предать суду». Полежаева освободили из-под ареста. Но одновременно Николай I дал указание усилить надзор за Полежаевым и сообщать о малейшем его дисциплинарном проступке, чтобы можно было наказать его «на законном основании».

Несколько месяцев спустя, в мае 1828 года, Полежаев подал повод к новому аресту. После увольнения в город он вернулся в казармы с опозданием, пьяный, и вступил в пререкания с фельдфебелем. Полежаева посадили на гауптвахту; он не придал значения этому заурядному, незначительному инциденту: «Я — под судом на минуту». Случись подобное с кем-нибудь другим, все, конечно, кончилось бы несколькими днями гауптвахты, но для Полежаева этот незначительный проступок обернулся серьезным делом. Полковое начальство не решилось взять на себя ответственность об определении меры наказания находящемуся под царским надзором Полежаеву и дало ход делу по инстанциям. Полежаева же перевели с гауптвахты в военную тюрьму, находившуюся во дворе Спасских казарм.

«И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гаубвахта, всё равно...
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;
В ней сырость мрачная и тьма,
И проблеск солнечных лучей
Сквозь окна слабо светит в ней;
Растреснутый кирпичный свод
Едва-едва не упадет
И не обрушится на пол,
Который снизу, как Эол,
Тлетворным воздухом несет
И с самой вечности гниет...»

В тюрьме Полежаев в кандалах, во тьме, «обезображен, как скелет», просидел более полугода. В отчаянии он хотел покончить жизнь самоубийством:

«Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!»

Но тут, к счастью, Полежаев познакомился с Александром Петровичем Лозовским, бывшим студентом университета, служившим чиновником в Комитете общественного призрения. Лозовский стал его верным и задушевным другом, ему Полежаев посвятил многие свои лучшие стихотворения, о нем писал он, вспоминая заключение в тюрьме: «Часто подносил он бальзам утешения к устам моим, отравленным желчию жизни; никогда не покидал меня в минуты горести».

В Спасской тюрьме Полежаев создал целый ряд стихотворений.

Наконец, 17 декабря 1828 года о Полежаеве последовало распоряжение начальника дивизии: «Хотя надлежало бы за сие к прогнанию сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом, прощен без наказания с переводом в Московский полк».

Московский полк входил в число тех частей дивизии, которые должны были в ближайшее время отправиться на Кавказ в действующую армию.

6

Утро 28 июля 1826 года легло резкой границей в жизни и творчестве Полежаева. Его поэтический талант, по преимуществу лирический, субъективный, черпал темы и образы в себе самом, в собственном жизненном опыте и собственных переживаниях, поэтому потрясение, которое он испытал, очутившись в солдатской казарме, горькие мысли и чувства, овладевшие им, дали новые темы и образы для новых его стихов, разительно отличающихся от того, что он писал раньше.

Первое написанное им после определения в солдаты стихотворение «Вечерняя заря» открывает собой длинную, создаваемую до последних дней жизни повесть о поэте, у которого отняли самое дорогое — свободу и который никогда с этим не сможет примириться.

Сожаление о прошлом, ощущение того, что жизнь кончена — вот темы стихотворений 1826—1827 годов.

«Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал

Никогда, никогда!
...Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней», —

пишет он в стихотворении «Вечерняя заря». Еще определеннее выражено это настроение в стихотворении «Цепи»:

«Любовь к прекрасному, природа,
Младые девы и друзья,
И ты, священная свобода,
Всё, всё погибло для меня!
Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!»

Он ясно представлял себе, кто и что является виновником и причиной его несчастья, — это царь Николай I и «самовластье», то есть самодержавие; понимал он и то, что его судьба — судьба многих. В «Вечерней заре» пишет он и об этом, но звучат эти строки, как и все стихотворение, безысходно-трагически:

«Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана».

В 1828 году в тюрьме Спасских казарм Полежаевым созданы произведения, являющиеся вершинами его творчества: «Песнь пленного ирокезца», о которой Белинский писал, что «это поэтическое создание, достойное великого поэта», «Песнь погибающего пловца», «Живой мертвец»; там же написана поэма о пребывании поэта в тюрьме, отрывки из которой при его жизни печатались под названием «Арестант».

Тема узника, пленного, погибающего пловца в условиях реакции и полицейских преследований того времени принимала символический характер. Образ американского индейца из племени ирокезов, попавшего в плен и гордо, «как воин и муж», принимающего неизбежную мучительную смерть, связывался с узниками российских тюрем и каторги, и в первую очередь с декабристами. И еще, что очень важно, в этом стихотворении прямо говорилось о преемственности, о том, что гибель бесстрашного пленника воодушевит его соплеменников на борьбу. Духи предков — единственные свидетели его гибели — говорят:

«Совокупной толпой
Мы на землю сойдем
И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!»

Стихи Полежаева этих лет отразили, как его первоначальное элегически безнадежное настроение, психологически объяснимое, переходило в последовательный и бескомпромиссный протест.

В поэме о Спасской тюрьме (сейчас она печатается под названием «Александру Петровичу Лозовскому») он реалистически описывает тюрьму, ее обитателей — «царя решительных врагов», которые

«Ложатся спать, а поутру
В молитве к господу Христу
Царя российского в ...
Они ссылают наподряд»,

себя, свой быт: нары, дрянной табак... В этой поэме Полежаев бросает обвинение царю и наиболее четко и логически обоснованно высказывает свои атеистические взгляды: говоря о себе, о своих страданиях, он издевается над идеей о милосердии бога:

«Свое творенье осудя,
Он опровергнет сам себя!..»

При сравнении этой поэмы с «Сашкой» видно, как возросло мастерство поэта, как глубже стало его восприятие жизни.

В 1826—1828 годах окреп талант Полежаева, сложился его художественный стиль. Имея в виду произведения этих лет, Белинский делает вывод: «Отличительную черту характера и особности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта...»

7

В те самые дни, когда полк Полежаева начинал переход на Кавказ и только-только покинул пределы Московской губернии, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф получил донос предателя декабристов Шервуда «О Московском университете и о стихах, приписываемых студенту Полежаеву». «Неоднократное появление стихов, сочиненных против религии, государя, отечества и нравственности служит ясным доказательством необходимости к пресечению дальнейшего заражения»,— писал доносчик и далее приводил семь стихотворений Полежаева: «Вечерняя заря», «Рок», «Песнь пленного ирокезца» и другие. Донос лег в архив III отделения с резолюцией Бенкендорфа: «Для соображений».

Полежаев пробыл на Кавказе около четырех лет, он участвовал в походах и боях, терпел лишения военной жизни. Один участник кавказской войны несколько строк

в своих воспоминаниях посвятил Полежаеву: «В рядах Московского полка с тяжелым солдатским ружьем во всем походном снаряжении шел известный русский поэт Полежаев. Это был молодой человек лет 24-х, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатичными глазами. Во всей фигуре его не было ничего воинственного: видно было, что он исполнял свой долг не хуже других, но что военная служба вовсе не была его предназначением». Тем не менее, как сообщает официальный документ — рапорт генерала Вельяминова, Полежаев «находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа». За отличие в боях ему было возвращено звание унтер-офицера и направлено прошение на высочайшее имя о присвоении офицерского чина.

Но как ни трудно приходилось Полежаеву в действующей армии, все же годы пребывания на Кавказе были наиболее светлыми в его солдатской судьбе. На Кавказе царила совсем другая атмосфера, чем в остальных частях Российской империи. Она обуславливалась не только удаленностью Кавказа от столиц и фронтовой обстановкой, но еще и тем, что Кавказ служил местом ссылки для неугодных самодержавию лиц. В тридцатые годы там служили разжалованные в солдаты декабристы. Со времен командования кавказскими войсками А. П. Ермоловым — героем Отечественной войны 1812 года, человеком либеральных взглядов, близкого к декабристам, на Кавказе, пишет Н. П. Огарев, «среди величавой природы... не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями».

Полежаев жил в кругу юнкеров и молодых офицеров, в отдельной палатке. Командующий левым флангом генерал А. А. Вельяминов покровительствовал ему и специально брал с собой в экспедиции, чтобы дать возможность отличиться.

На Кавказе Полежаев много писал. Здесь им созданы стихотворения «Казак», «Море», «Водопад», «Демон вдохновенья», «Цыганка», «Архалук» и другие, поэмы «Эрпели», «Чир-Юрт», «Герменчугское кладбище». Эти произведения составили важный этап творческого пути поэта, в них романтические мотивы и краски уступают место реалистическим принципам изображения.

В русской поэзии уже существовал романтический образ Кавказа с набором «поэтических» красот: горы, кони, прекрасные черкешенки, «которых Пушкин описал». Полежаев в поэме «Эрпели» иронизирует по поводу этого образа и того, что и он сам, поддавшись его обаянию, представлял себе Кавказ «по Пушкину». Далее Полежаев предлагает читателю посмотреть на настоящий Кавказ:

«Оставить университет
И в амуниции походной
Идти за мной тихонько вслед».

В своих поэмах Полежаев дает реалистическое описание Кавказа, его обитателей — горцев, русских солдат, военные действия.

Осмысляя события, в которых ему пришлось участвовать, он отказывается горцев считать врагами; ответственность за рознь он возлагает на их религиозного руководителя Кази-Муллу, который обманом и ложью заставляет единоверцев вести бессмысленную войну. В стихотворении «Кладбище Герменчугское» Полежаев пишет:

«...Народ жестокой,
Народ, свой пагубный тиран,
Когда пред истиной высокой
Исчезнет жалкий твой обман?
Когда, признательные очи
Обмыв горячею слезой,
Ты дружбу сына полуночи
Оценишь гордою душой?..»

В военных поэмах Полежаев проклинает войну:

«Да будет проклят нечестивый,
Извлекший первый меч войны
На те блаженные страны,
Где жил народ миролюбивый!..» —

и постоянно возвращается к мыслям о мире:

«Когда воинственная лира,
Громовый звук печальных струн,
Забудет битвы и перун
И воспоет отраду мира?»

И в поэме «Чир-Юрт» снова возникает тема, перекликающаяся с одой Рылеева «Гражданское мужество»:

«Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,
Где б люди не жили врагами
Без права силы и войны!
О, где не встретим мы способных
Основы блага разрушать?
Но редко, редко нам подобных
Умеем к жизни призывать!..»

8

В 1832 году, когда Полежаев находился на Кавказе, в Москве одновременно вышли две его книги: «Стихотворения А. И. Полежаева» и «Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева»; с выходом этих книг творчество Полежаева, ранее известное только по журнальным публикациям и рукописным спискам, предстало перед читателем как значительное литературное явление.

В 1833 году полк, в котором служил Полежаев, вернулся в Москву.

«Опять она, опять Москва!
Редеет зыбкий пар тумана,
И засияла голова
И крест Великого Ивана!» —

в восторге и радости восклицает поэт.

В Москву Полежаев вернулся уже известным и признанным поэтом. Он встречается с товарищами прежних лет, знакомится с новым поколением, входившим в литературу,— с Герценом, Огаревым, Белинским. Его поэзия отвечала свободолюбивым настроениям молодого поколения. «Свобода была его любимым словом,— вспоминает Белинский,— его любимою рифмою». «В Москве Полежаев пользовался громкою известностию»,— свидетельствует он в статье 1842 года и добавляет: «Там и доселе не забыт он».

«Громкая известность», признание, конечно, способствовали тому, что Полежаев много и упорно работал. Но он оставался солдатом, и это угнетало его, не давало возможности отдаться литературному труду.

К 1834 году относится один из самых трагических эпизодов в его жизни. Отставной полковник Бибиков, тот самый, по донесению которого в 1826 году Полежаев попал в солдаты, познакомился с ним теперь и, исхлопотав разрешение у полковника, на две недели привез поэта к себе на дачу. Здесь Полежаев испытал сильнейшее душевное потрясение, влюбившись в дочь Бибикова Екатерину Ивановну, которая также полюбила поэта. (Много лет спустя она написала очень теплые воспоминания об этих двух неделях.) Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы им было разрешено соединить судьбы. Любовь осталась невысказанной, она отразилась лишь в цикле замечательных стихотворений: «К Е. И. Бибиковой», «Судьба меня в младенчестве убила», «Черные глаза». Бибикова, бывшая талантливой художницей, написала портрет Полежаева — лучший в его иконографии.

Полковник Бибиков, проникнувшись сочувствием к поэту, пытался помочь ему в получении офицерского чина. Он написал письмо Бенкендорфу, в котором уверял шефа жандармов, что поэт «отказался от заблуждений своей юности и всецело изменил свое поведение». Бибиков пошел даже на то, что к стихотворению Полежаева приписал несколько строф собственного сочинения, которые должны были подтвердить благонамеренность поэта.

Но к представлению генерала Вельяминова и письму Бибикова в III отделении присоединили сберегавшийся до времени донос Шервуда, и в результате «монаршее повеление» гласило: «Производством унтер-офицера Полежаева в прапорщики повременить».

Главное содержание жизни Полежаева составляла

поэзия. В ней собственно и был смысл его жизни. К теме поэта и вдохновения он не раз возвращался в своих стихах.

«Когда пишу, тогда я мыслю;
Когда я мыслю, то пишу»,—

заявляет он в поэме «Чир-Юрт», перефразируя известное изречение Декарта: «Я мыслю,— значит, существую».

В великолепном стихотворении «Демон вдохновенья» он пишет о вдохновенье как о высшем счастье, дарующем ему силы жить:

«...Он благотворно осенил
Меня волшебными крылами,
И с них обильными струями
Сбежала в грудь мне крепость сил».

Заканчивается стихотворение словами горчайшего страдания: «Зачем ты улетел, о демон вдохновенья!»

В литературе 1830-х годов Полежаев занял заметное место. Хотя он был внимательным читателем и горячим почитателем Пушкина, но не стал его подражателем. Он шел своей дорогой. У поэзии Полежаева другие темы, а это одно уже большая смелость — сделать поэзией быт, который традиционно считается «непоэтическим». Полежаев разрабатывает и совершенно новую поэтику, опирающуюся на эстетические вкусы совсем другого класса — класса разночинцев.

В творчестве Полежаева представлены почти все поэтические жанры, разрабатывавшиеся русской поэзией 1820—1830-х годов: поэма, послание, элегия, сатира, песня, но опять-таки в рамках своей поэтики.

Поэзия Полежаева оказалась слитой со временем, отвечающей требованиям времени, и Аполлон Григорьев пишет даже об эпохе, которая характеризуется стихами Полежаева, игрой Мочалова и музыкой Варламова.

Влияние Полежаева на современную ему литературу и на ту, молодую, которая станет наследницей ее пушкинского периода, очень значительно. Можно провести прямую линию от Полежаева к Аполлону Григорьеву, от «Черных глаз» к циклу «Борьба» и знаменитой «Цыганской венгерке».

Но, пожалуй, вполне достаточно ограничиться одним именем Лермонтова. Влияние Полежаева на творчество Лермонтова многогранно: он подражает Полежаеву прямо (поэма «Сашка»), он отталкивается от поэзии Полежаева, развивает его темы, возражает ему (кавказские поэмы), он использует ритмические находки Полежаева, его фразеологию. Можно привести много лермонтовских строк, которые вызывают в памяти строки Полежаева. (Этот вопрос подробно освещен в книге С. В. Обручева «Над тетрадями Лермонтова». М., Наука, 1965.)

Лично Лермонтов с Полежаевым, скорее всего, зна-

ком не был, но знал о нем из рассказов общих знакомых. Лермонтову принадлежат строки из песни, посвященной Московскому университету: «Хвала, ученья дивный храм, / Где цвел наш бурный Полежаев...»

9

Одиннадцать лет солдатчины совершенно подточили и духовное, и физическое здоровье Полежаева. Недолгие дни или, в крайнем случае, недели душевного отдыха, надежд, вдохновенья сменялись долгими месяцами и годами тяжелого солдатского труда, отчаянья, вынужденного умственного прозябания.

В трагически безнадежном стихотворении «Тоска» Полежаев описывает испытываемые им «минуты душевной тоски», когда он не способен даже воспринимать сиянье солнца, когда в нем остается одно только «горькое к жизни презренье».

Тарутинский полк квартировал в Калужской губернии, но отдельные его батальоны несли караульную службу в Москве, посылались на стоянки в подмосковные уезды, поэтому Полежаев часто жил в Москве.

Он подготовил сборники новых стихотворений: «Разбитая арфа» и «Часы выздоровления», цензура не разрешила их издания. Это, конечно, усугубило и без того тяжелое душевное состояние поэта.

Воспоминания В. И. Ленца описывают Полежаева последних лет его жизни, бесконечно измученного, но и в условиях почти полного бесправия сохранившего человеческое достоинство. «Самой выразительной чертой его физиономии,— пишет Ленц,— были, конечно, большие черные глаза, светившиеся умом, энергией, благородством и какой-то высшей духовной силой».

В июле 1837 года Полежаев был снова представлен к офицерскому званию, но, видимо, он и на этот раз не особенно верил в благополучный исход ходатайства.

Весною этого года он несколько дней гостил в муромском имении своего товарища по университету В. Х. Бурцова, вместе с хозяином и его приятелями ездил на охоту. Вернувшись в Москву, Полежаев написал шуточную поэму «Царь охоты», посвященную охотничьим забавам его муромских знакомых. В сентябре подал ее в цензуру, и поэма, как и ранее представленные сборники стихов, к печати разрешена не была. Видимо, это стало последней решающей каплей, Полежаев не выдержал и сорвался — он запил и не явился в полк. Его отыскали, вернули и, по воспоминаниям Е. А. Дроздовой-Комаровой, подвергли жестокому наказанию розгами, так что «долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья». Правда, скорее всего, рассказ о наказании — еще одна полежаевская легенда, потому что в его формуляре, куда обязательно заносились все взыскания, сведений об этом наказании нет.

В конце сентября Полежаева положили в московский военный госпиталь. Из госпиталя он пишет Лозовскому: «Вот тебе, Александр, живая картина моего настоящего положения:

...Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился с чахоткой,
И в ней, как кажется, сгнию!..»

Он знал, что умирает.

7 января 1838 года в официальной газете военного ведомства «Русский инвалид» был напечатан приказ о производстве Полежаева из унтер-офицеров в прапорщики.

А «1838 года января 16 дня,— как сообщает запись в книге госпитальной церкви,— Тарутинского егерского полка прапорщик Александр Полежаев от чахотки умер и священником Петром Магницким на Семеновском кладбище погребен».

Могила Полежаева, не отмеченная памятником, вскоре затерялась среди безымянных могил этого бедного солдатского кладбища на далекой окраине Москвы.

10

Вскоре после смерти Полежаева вышел в свет новый сборник его стихотворений «Арфа». По требованию цензуры было изменено название: в рукописи сборник назывался «Разбитая арфа», а на портрете поэта в солдатской форме, который цензура также сочла неприемлемым, цензор заставил пририсовать офицерские эполеты. Четыре года спустя, в 1842 году, друзьям Полежаева наконец удалось провести через цензуру и издать второй, подготовленный самим поэтом сборник «Часы выздоровления».

Кроме того, произведения Полежаева получили широкое распространение в рукописных копиях, количество которых, пожалуй, намного превышало тираж изданий.

Творчество Полежаева играло большую роль в общественно-литературной жизни России. Оно принадлежало литературе и истории освободительного движения, и каждое новое поколение борцов против самодержавия находило в стихотворениях Полежаева волнующие и его мысли и чувства.

Белинскому принадлежит первый обстоятельный анализ творчества Полежаева, он определил место Полежаева в истории русской литературы.

Белинский же выдвинул и два аспекта в оценке творчества Полежаева: литературно-художественный и общественный.

Герцен и Огарев могли говорить более свободно; поэтому в воспоминаниях Герцена и в статье Огарева, предпосланной сборнику «Русская потаенная литерату-

ра», на первый план выделены те факты биографии Полежаева, которые могли быть использованы в революционной пропаганде против самодержавия. Полежаев — солдат, Полежаев — жертва царского произвола почти закрыл Полежаева-поэта. Полежаеву-поэту в статье Огарева посвящено лишь несколько фраз, содержащих весьма скромную оценку творчества Полежаева.

Н. А. Добролюбов также развивает мысль Белинского о Полежаеве как «общественном явлении»; его рецензия 1857 года на новое издание сочинений Полежаева в большой степени является поводом для разговора о современных вопросах, ее главный пафос в обвинении самодержавия.

Вновь к более широкой, не ограничивающейся только политической пропагандой оценке творчества Полежаева русская литература и русское литературоведение пришли на рубеже XIX—XX веков. В. Я. Брюсов изучает Полежаева как мастера версификации. Ю. Айхенвальд в свои знаменитые «Силуэты русских писателей» включает очерк о Полежаеве, Б. Садовский пишет о Полежаеве в книге «Русская камена». Теперь творчество Полежаева предстает перед читателем и исследователем в связи с общим развитием русской поэзии, в его связях и взаимовлияниях с современной ему поэзией и с последующей. Ю. Верховский в предисловии к книге «Поэты пушкинской поры» (1919 г.), как бы суммируя оценки роли и значения творчества Полежаева, сделанные в начале XX века, пишет: «...медленно и трагически гибнувший Полежаев, не допевший своих страдальческих песен, часто говоривших уже о новом, предчувствовавших иную пору, дышавших веянием крыльев приближавшегося Демона. Он, умолкший слишком рано, был одним из избранных, немногими понятых до конца, но со многими, со всем кругом — тесно, неразрывно связанных». Имя Полежаева Верховский называет «в ряду смотрящих вперед — Баратынского, Тютчева, Вяземского».

Советскими исследователями В. В. Барановым, Н. И. Ворониным, В. И. Безъязычным и другими проделана большая работа по выявлению текстов произведений Полежаева, новых фактов его биографии и по установлению истинного значения для истории русской культуры поэтического наследия Полежаева, как одного из зачинателей разночинной, революционно-демократической литературы.

Полежаев был прозорливо прав, когда в годы творившейся из его имени легенды писал:

«Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..»

Вл. Муравьев


Стихо-
творения

ГЕНИЙ

Кто сей блестящий серафим,
Одетый облаком лазури,
Лучом струистым огневым,
Быстрее молнии и бури
Парящий гордо к небесам?..
Я зрел: возникнувши из праха,
В укор судьбе, в укор векам,
Он разорвал оковы страха,
Удел ничтожный бытия,
Он бросил взор негодованья
На сон природы, на себя,
На омертвелые созданья.
«Я жив,— он рек,— я человек,
Я неразрывен с небесами!»
И глубь эфирную рассек
Одушевленными крылами.
Се он, божественный, летит,
Душевных сил и славы полный,
И под собой с улыбкой зрит
И твердь и океанов волны.
Уже он там, достиг небес,
Мелькнул незрим в дали туманной,
И легкий след его исчез,
Как ветр долин благоуханный,
Как метеор во тьме ночной,
Как сон от дневных впечатлений...
Кто ж он, сей странник неземной?
Великий ум, блестящий гений!
Раздайся, вечность, предо мной!
Покровы мрачные, спадите!
И в след за истиной святой,
Душа и разум мой, парите!

О гений мира и любви,
Первоначальный жизни датель,
Не ты ли неба и земли
Непостижимый есть создатель?
Не ты ли радужным перстом
Извлек вселенную из бездны,
Не ты ль в пространстве голубом
Рассеял ночь и день подзвездный.
Не ты ль Гармонию низвел
На безобразные атомы
И в хор пленительный привел
Дыханья малые и громы,
Чья невидимая рука
Могла ничто и всё устроить:
И смертного и червяка
Создать, взрастить и успокоить?
Кто есть начало и конец
Непостижимых устроений,
Ты добродетели отец,
Ты правота, могущий Гений.
О, дел бессмертных красота!
Венец премудрости глубокой,
Святой дар неба — правота,
Великих душ удел высокой.
В какой стране, в каких веках
Ты не была превозносимой?
В каких чувствительных сердцах
Ты не была боготворимой!
Надежду, счастье с тишиной,
Покой — отраду, мир приятный —
Всё, всё ты сыплешь под луной
Твоей рукою благодатной.
Пускай бестрепетный герой,
В кровавых битвах знаменитый,
Увенчан звучною молвой
И меч свой, лавром перевитый,
Во храм бессмертия несет,
Когда он чужд был сожаленья,
Что Правота произнесет?
Над ним достойное решенье:
«Герой! Повергни меч твой в прах!..»
Пускай вельможа горделивый,
Имея власть царя в руках,

Гнетет ярмом несправедливым
Пред ним трепещущий народ,
И сей, низринутый во прахе,
Его отцом своим зовет,
Окамененья в рабском страхе...
Раздайся, Правды приговор!
«Он был Злодей»,— речет потомство,
И вечный, гибельный позор
Накажет лесть и вероломство.
Пускай блестящий лжемудрец
Своею славою надменной
Присвоит сам себе венец
К стыду обманутой вселенной.
«Ты — лживый гений!» — Правота
Ему речет, как глас громовый,
И где твой блеск и красота,
Венец лжегения лавровый?
Так, божий дар, ты возгремишь
Умам кичливым в наказанье,
И ложь и злобу разразишь.
Так, правда — бога достоянье!
Восторг в груди моей кипит,
Я полн возвышенных мечтаний,
Творец, твой дух со мною спит,
Я исполин твоих созданий!

1825

ПОГРЕБЕНИЕ

Я видел смерти лютой пир —
Обряд унылый погребенья:
Младая дева вечный мир
Вкусила в мгле уничтоженья.
Не длинный ряд экипаже́й,
Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах, нет! Простой досчатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.

Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали.
И вот уже духовный врач
Отпел последнюю молитву,
И вот сильнее вопль и плач...
И смерть окончила ловитву!
Звучит протяжно звонкий гвоздь,
Сомкнулась смертная гробница —
И предалась, как новый гость,
Земле бесчувственной девица...
Я видел всё; в немой тиши
Стоял у пагубного места
И в глубине моей души
Сказал: «Прости, прости, невеста!»
Невольно мною овладел
Какой-то трепет чудной силой,
И я с таинственной могилой
Расстаться долго не хотел.
Мне приходили в это время
На мысль невинные мечты,
И грусти сладостное бремя
Принес я в память красоты.
Я знал ее — она, играя,
Цветок недавно мне дала,
И вдруг, бледнея, увядая,
Как цвет дареный, отцвела.

<1826>

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я встречаю зарю
И печально смотрю,
Как кропинки дождя,
По эфиру слетя,
Благотворно живят
Попираемый прах
И кипят и блестят
В серебристых звездах

На увядших листах
Пожелтевших лугов.
Сила горней росы,
Как божественный зов,
Их младые красы
И крепит и растит.
Что ж, кропинки дождя,
Ваш бальзам не живит
Моего бытия?
Что ж в вечерней тиши,
Как приятный обман,
Не исцелит он ран
Охладелой души?
Ах, не цвет полевой
Жжет полдневной порой
Разрушительный зной:
Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
И я жил — но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла;
Мир души погребла
К шумной воле любовь...
Не воскреснет она!
Я надежду имел

На испытных друзей,
Но их рой отлетел
При невзгоде моей.
Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой...
Мне противно смотреть
На блаженство других
И в мучениях злых,
Не сгораючи, тлеть...
Не кропите ж меня
Вы, росинки дождя:
Я не цвет полевой;
Не губительный зной
Пролетел надо мной!
Я увял — и увял
Навсегда, навсегда.
И блаженства не знал
Никогда, никогда!

<1827—1828>

ЦЕПИ

К чему игрой воображенья
Картины счастья рисовать?
К чему душевное мученье
Тоской опасной растравлять?
Гонимый роком своенравным,
Я вяну жертвою страстей
И угнетен ярмом бесславным
В цветущей юности моей!..
Я зрел: надежды луч прощальный
Угас навеки в небесах,
И факел смерти погребальный
С тех пор горит в моих очах!
Любовь к прекрасному, природа,
Младые девы и друзья,
И ты, священная свобода,
Все, все погибло для меня!
Без чувства жизни, без желаний,

Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огнь души унылой
Воспламеняется во мне,
С снедающей меня могилой
Борюсь, как будто бы во сне!
Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить!
Уже рукою разъяренной
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущенный
Забыл и горе и печаль!..
Готов!.. Но цепь порабощенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных, трепетных руках...
Как раб испуганный, бездушный,
Тогда кляну свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи нового царя.

<1827—1828>

ПЕСНЬ ПЛЕННОГО ИРОКЕЗЦА

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
        Равнодушно они
        Для забавы детей
        Отдирать от костей
        Будут жилы мои!
        Обругают, убьют
        И мой труп разорвут!
Но стерплю! Не скажу ничего,
Не наморщу чела моего!
        И, как дуб вековой,
        Неподвижный от стрел,
        Неподвижен и смел,
        Встречу миг роковой

И, как воин и муж,
Перейду в страну душ.
Перед сонмом теней воспою
Я бесстрашную гибель мою.
И рассказ мой пленит
Их внимательный слух,
И воинственный дух
Стариков оживит;
И пройдет по устам
Слава громким делам.
И рекут они в голос один:
«Ты достойный прапрадедов сын!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдем
И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!
Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я, недвижим и смел,
Встречу миг роковой!
<1827—1828>

*

Притеснил мою свободу
Кривоногий штабс-солдат:
В угождение уроду
Я отправлен в каземат.

И мечтает блинник сальный
В черном сердце подлеца
Скрыть под лапою нахальной
Имя вольного певца.

Но едва ль придется шуту
Отыграться без стыда:
Я — под спудом на минуту,
Он — в болоте навсегда.
<1828>

РОК

Зари последний луч угас
В природе усыпленной;
Протяжно бьет полночный час
На башне отдаленной.
Уснули радость и печаль
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.
Всё спит... Один свирепый рок
Чужд мира и покоя,
И столько ж страшен и жесток
В тиши, как в вихре боя.
Ни свежей юности красы,
Ни блеск души прекрасной
Не избегут его косы,
Нежданной и ужасной!
Он любит жизни бурной шум,
Как любят рев потока,
Или как любит детский ум
Игру калейдоскопа.
Пред ним равны — рабы, цари;
Он шутит над султаном,
Равно как шучивал Али
Янинский над фирманом.
Он восхотел — и Крез избег
Костра при грозном Кире,
И Кир, уснув на лоне нег,
Восстал в подземном мире.
Велел — и Рима властелин —
Народный гладиатор,
И Русь, как кур, передушил
Ефрейтор-император.

<Между 1826—1828>

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с темною могилой,
Живет и страждет без конца?

В час полуночи молчаливой,
При свете сумрачном луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый.
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой.
Унылый, грустный, он блуждает
Вокруг жилища своего,
И — очарован — за него
Переноситься не дерзает.
Следы минувших, лучших дней
Он видит в мысли быстротечной,
Но мукой тяжкою и вечной
Наказан в ярости своей,
Проклятый небом раздраженным,
Он не приемлется землей,
И овладел мучитель злой
Злодея прахом оскверненным.
Вот мой удел! Игра страстей,
Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!
Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня,
И, член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы!
Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

<Между 1826—1828>

ПЕСНЬ ПОГИБАЮЩЕГО ПЛОВЦА

I

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

II

Все чернее
Свод надзвездный,
Все страшнее
Воют бездны.
Глубь без дна —
Смерть верна!
Как заклятый
Враг грозит,
Вот девятый
Вал бежит!..

III

Горе, горе!
Он настигнет:
В шумном море
Челн погибнет!
Гроб готов...
Треск громов
Над пучиной
Ярых вод —
Вздох пустынный
Разнесет!

IV

Дар заветный
Провиденья,
Гость приветный
Наслажденья —
Жизнь иль миг!
Не привык
Утешаться
Я тобой,—
И расстаться
Мне с мечтой!

V

Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы,—
С юных лет
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег!

VI

На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных
Я скользил;
Я шутил
Грозной влагой —
Смертный вал
Я отвагой
Побеждал!

VII

Как минутный
Прах в эфире,

Бесприютный
Странник в мире,
Одинок,
Как челнок,
Уз любви
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал!

VIII

Парус белый
Перелетный,
Якорь смелый
Беззаботный,
Тусклый луч
Из-за туч,
Проблеск дали
В тьме ночей —
Заменяли
Мне друзей!

IX

Что ж мне в жизни
Безызвестной?
Что в отчизне
Повсеместной?
Чем страшна
Мне волна?
Пусть настигнет
С вечной мглой,
И погибнет
Труп живой!

X

Все чернее
Свод надзвездный;
Все страшнее
Воют бездны;
Ветр свистит,
Гром гремит,

Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

<1828>

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ

О, для чего судьба меня сгубила?
Зачем из цепи бытия
Меня навек природа исключила,
И страшно вживе умер я?
Еще в груди моей бунтует пламень
Неугасаемых страстей,
А совесть, как врага заклятый камень,
Гнетет отверженца людей!
Еще мой взор, блуждающий, но быстрый,
Порою к небу устремлен,
А божества святой отрадной искры,
Надежды с верой, я лишен!
И дышит всё в создании любовью,
И живы червь, и прах, и лист,
А я, злодей, как Авелевой кровью
Запечатлен! Я атеист!..
И вижу я, как горестный свидетель,
Сиянье утренней звезды,
И с каждым днем твердит мне добродетель:
«Страшись, страшись готовой мзды!..»
И грозен он, висящей казни голос,
И стынет кровь во мне, как лед,
И на челе стоит невольно волос,
И выступает градом пот!
Бежал бы я в далекие пустыни,
Презрел бы ужас гробовой!
Душа кипит, но не руке, рабыне,
Разбить сосуд свой роковой!
И жизнь моя мучительнее ада,
И мысль о смерти тяжела...
А вечность... ах! она мне не награда —
Я сын погибели и зла!
Зачем же я возник, о провиденье,

Из тьмы веков перед тобой?
О, обрати опять в уничтоженье
Атом, караемый судьбой!
Земля, раскрой несытую утробу,
Горящей Этной протеки
И, бурный вихрь, тоску мою и злобу
И память с пеплом развлеки!

<1828>

КРЕМЛЕВСКИЙ САД

Люблю я позднею порой,
Когда умолкнет гул раскатный
И шум докучный городской,
Досуг невинный и приятный
Под сводом неба провождать;
Люблю задумчиво питать
Мои беспечные мечтанья
Вкруг стен кремлевских вековых,
Под тенью липок молодых
И пить весны очарованье
В ароматических цветах,
В красе аллей разнообразных,
В блестящих зеленью кустах.
Тогда, краса ленивцев праздных,
Один, не занятый никем,
Смотря и ничего не видя,
И, как султан на лавке сидя,
Я созидаю свой эдем
В смешных и странных помышленьях.
Мечтаю, грежу, как во сне,
Гуляю в выспренних селеньях —
На солнце, небе и луне;
Преображаюсь в полубога,
Сужу решительно и строго
Мирские бредни, целый мир,
Дарую счастье миллионам...
(Весы правдивые законам)
И между тем, пока мой пир
Воздушный, легкий и духовный
Приемлет всю свою красу,

И я себя перенесу
Гораздо дальше подмосковной,—
Плывя, как лебедь, в небесах,
Луна сребрит седые тучи;
Полночный ветер на кустах
Едва колышет лист зыбучий;
И в тишине вокруг меня
Мелькают тени проходящих,
Как тени пасмурного дня,
Как проблески огней блудящих.

<1829>

ТАБАК

Курись, табак мой! Вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И облаками расстилай
  Свой запах ароматный!
Не столько персу мил кальян
  Или шербет душистый,
Сколь мил душе моей туман
  Твой легкий и волнистый!
Тиран лишил меня всего —
  И чести и свободы,
Но все курю, назло его,
  Табак, как в прежни годы.
Курю и мыслю: как горит
  Табак мой в трубке жаркой,
Так и меня испепелит
  Рок пагубный и жалкой...
Курись же, вейся, вылетай
  Из трубки, дым приятный,
И, если можно, исчезай
  И жизнь с ним невозвратно!

<1829>

КАЗАК

Под Черные горы на злого врага
Отец снаряжает в поход казака.
Убранный заботой седого бойца
Уж грам абазинский стоит у крыльца.
Жена молодая, с поникшей главой,
Приносит супругу доспех боевой,
И он принимает от белой руки
Кинжал Базалая, булат Атаги
И труд Царяграда — ружье и пистоль[1].
На скатерти белой прощальная соль,
И хлеб, и вино, и Никола святой...
Родителю в ноги... жене молодой —
С таинственной бурей таинственный взор
И брови на шашку — вине приговор,
Последнего слова и ласки огонь!..

И скрылся из виду и всадник и конь!

Счастливый казак!
От вражеских стрел, от меча и огня
Никола хранит казака и коня.
Враги заплатили кровавую дань,
И смолкла на время свирепая брань.
И вот полунощною тихой порой
Он крадется к дому глухою тропой,
Он милым готовит внезапный привет,
В душе его мрачного предчувствия нет.
Он прямо в светлицу к жене молодой —
И кто же там с нею?.. Казак холостой!
Взирает обманутый муж на жену
И слышит в руке и душе сатану:
«Губи лицемерку — она неверна!»
Но вскоре рассудком изгнан сатана...
Казак изнуренные силы собрал
И, крест сотворивши, Николе сказал:
«Никола, Никола, ты спас от войны,
Почто же не спас от неверной жены?»
Несчастный казак!

<1830, Кавказ>

---

[1] На Кавказе между казаков пистолет так всегда называется *(примеч. автора)*.

ЧЕРНАЯ КОСА

Там, где свистящие картечи
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.
Она в крови и без ответа,
Но тайный голос произнес:
«Булат, противник Магомета,
Меня с главы девичьей снес!
Гордясь красой неприхотливой,
В родной свободной стороне
Чело невинности стыдливой
Владело мною в тишине.
Еще за час до грозной битвы
С врагом отечественных гор
Пылал в жару святой молитвы
Звезды Чир-Юрта ясный взор.
Надежда храбрых на Пророка
Отваги буйной не спасла,
И я во прах веленьем рока
Скатилась с юного чела!
Оставь меня!.. Кого лелеет
Украдкой нежная краса,
Тому на сердце грусть навеет
В три грани черная коса...»

1831

ПЕСНИ

I

Зачем задумчивых очей
С меня, красавица, не сводишь?
Зачем огнем твоих речей
Тоску на душу мне наводишь?
Не припадай ко мне на грудь
В порывах милого забвенья, —
Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воспалить

Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить —
Не для меня очарованья!
Я был любим, и сам любил —
Увял на лоне сладострастья!
И в хладном сердце схоронил
Минуты горестного счастья.
Я рано сорвал жизни цвет,
Все потерял, все отдал Хлое,—
И прежних чувств и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы красота
И девы пламенные взоры,
Но сердце мучит пустота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!

II

У меня ль, молодца,
Ровно в двадцать лет
Со бела со лица
Спал румяный цвет,
Черный волос кольцом
Не бежит с плеча;
На ремне золотом
Нет грозы-меча,
За железным щитом
Нет копья-огня,
Под черкесским седлом
Нет стрелы коня;
Нет перстней дорогих
Подарить милóй!
Без невесты жених,
Без попа налой...
Расступись, расступись,
Мать-сыра земля!
Прекратись, прекратись,
Жизнь-тоска моя!

Лишь по ней, по ми́лой,
Красен белый свет;
Без ми́лой, дорогой
Счастья в мире нет!

III

Там, на небе высоко́,
Светит солнце без лучей,—
Так без друга далеко
Гаснет свет моих очей!..
У косящата окна
Раскрасавица сидит;
Призадумавшись, она
Буйну ветру говорит:
«Не шуми ты, не шуми,
Буйный ветер, под окном;
Не буди ты, не буди
Грусти в сердце ретивом;
Не тверди мне, не тверди
Об изменнике моем!
Изменил мне, изменил
Мой губитель роковой;
Насмеялся, пошутил
Над моею простотой,
Над моею простотой,
Над девичьей красотой!
Я погибла бы, душа
Красна-девка, от ножа,
Я погибла б от руки,
А не с горя и тоски.
«Ты убей меня, убей,
Ненавистный мой злодей! —
Я сказала бы ему,
Милу другу своему,—
Не жалею я себя,
Ненавижу я тебя!
Лей и пей ты мою кровь,
Утуши мою любовь!»
Не шуми ж ты, не шуми,
Буйный ветер, надо мной;
Полети ты, полети
Вдоль дороги столбовой!

По дороге столбовой
Скачет воин молодой;
Налети ты на него,
На тирана моего;
Просвищи, как жалкий стон,
Прошепчи ему поклон
От высоких от грудей,
От заплаканных очей,—
Чтоб он помнил обо мне
В чужедальней стороне;
Чтобы с лютою тоской,
Вспоминая, воздохнул,
И с горючею слезой
На кольцо мое взглянул;
Чтоб глядел он на кольцо,
Как на друга прежних дней,
Как на белое лицо
Бедной девицы своей!..»

<1831—1832>

*

Бесценный друг счастливых дней,
Вина святого упованья
Души измученной моей
Под игом грусти и страданья.
Мой верный друг, мой нежный брат,
По силе тайного влеченья
Кого со мной не разлучат
Времен и мест сопротивленья.
Кто для меня и был и есть
Один и все, кому до гроба
Не очернят меня ни лесть,
Ни зависть черная, ни злоба;
Кто овладел, как чародей,
Моим умом, моею думой,
Кем снова ожил для людей
Страдалец мрачный и угрюмый,—
Бесценный друг, прими плоды
Моих задумчивых мечтаний,
Минутной резвости следы

И цепь печальных вспоминаний!
Ты не найдешь в моих стихах
Волшебных звуков песнопенья:
Они родятся на устах
Певцов любви и наслажденья...
Уже давно чуждаюсь я
Их благодатного привета,
Давно в стихии шумной света
Не вижу радостного дня...
Пою, рассеянный, унылый,
В степях далекой стороны
И пробуждаю над могилой
Давно утраченные сны...
Одну тоску о невозвратном,
Гонимый лютою судьбой,
В движеньи грустном и приятном,
Я изливаю пред тобой!
Но ты, понявши тайну друга,
Оценишь сердце выше слов
И не сменишь моих стихов
Стихами резвыми досуга
Других счастливейших певцов.

7 февраля 1832
Крепость Грозная

ФЕДОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОНИ

Was sein soll — muss geschehen!

Я не скажу тебе, поэт,
Что греет грудь мою так живо,
И не открою сердца,— нет!
И поэтически, игриво,
Я гармоническим стихом,
В томленьи чувств перегорая,
Не выскажу тебе о том,
Чем дышит грудь полуживая,
Что движет мыслию во мне,
Как глас судьбины, глас пророка
И часто, часто в тишине
Огнем пылающего ока
Так и горит передо мной!

О, как мне жизнь тогда светлеет!
Мной всё забыто — и покой
В прохладе чувств меня лелеет.
За этот мир я б всё отдал,
За этот миг я бы не взял
И гурий неги Гаафица —
Он мне нужнее, чем денница,
Чем для рожденного птенца
Млеко родимого сосца!
Так... Не испытывай напрасно,
Поэт, волнения души
И искры счастия прекрасной
В ее начале не туши!
Она угаснет — и за нею
Мои глаза закрою я,
Но за могилою моею
Еще услышишь ты меня.
Лишь с гневом яростного мщенья
Оно далеко перейдет,
А всё врага найдет
В веках, грядущих поколеньях!

19 февраля 1832

ЗВЕЗДА

Она взошла, моя звезда,
Моя Венера золотая;
Она блестит как молодая
В уборе брачном красота!
Пустынник мира безотрадный,
С ее таинственных лучей
Я не свожу моих очей
В тоске мучительной и хладной.
Моей бездейственной души
Не оживляя вдохновеньем,
Она небесным утешеньем
Ее дарит в ночной тиши.
Какой-то силою волшебной
Она влечет меня к себе,
И, перекорствуя судьбе,
Врачует грусть мечтой целебной.

Предавшись ей, я вижу вновь
Мои потерянные годы,
Дни счастья, дружбы и свободы,
И помню первую любовь.

<1832>

К ДРУЗЬЯМ

Игра военных суматох,
Добыча яростной простуды,
В дыму лучинных облаков,
Среди горшков, бабья, посуды,
Полуразлегшись на доске
Иль на скамье, как вам угодно,
В избе негодной и холодной,
В смертельной скуке и тоске
Пишу к вам, ветреные други!
Пишу — и больше ничего,—
И от поэта своего
Прошу не ждать другой услуги.
Я весь — расстройство!.. Я дышу,
Я мыслю, чувствую, пишу,
Расстройством полный, лишь
расстройство
В моем рассудке и уме...
В моем посланьи и письме
Найдете вы лишь беспокойство!
. . . .
. . . .
И этот приступ неприродный
Вас удивит, наверно, вдруг.
Но, не трактуя слишком строго,
Взглянув в себя самих немного,
Мое безумство не виня,
Вы не осудите меня.
Я тот, чем был, чем есть, чем буду,
Не пременюсь, непременим...
Но, ах! когда и где забуду,
Что роком злобным я гоним?
Гоним, убит, хотя отрада
Идет одним со мной путем,
И в небе пасмурном награда

Мне светит радужным лучом.
«Я пережил мои желанья!» —
Я должен с Пушкиным сказать,
«Минувших дней очарованья»
Я должен вечно вспоминать.
Часы последних сатурналий,
Пиров, забав и вакханалий,
Когда, когда в красе своей
Изменят памяти моей?
Я очень глуп, как вам угодно,
Но разных прелестей Москвы
Я истребить из головы
Не в силах... Это превосходно!
Я вечно помнить буду рад:
«Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд».
Моя душа полна мечтаний,
Живу прошедшей суетой,
И ряд несчастий и страданий
Я заменять люблю игрой
Надежды ложной и пустой.
Она мне льстит, как льстит игрушка
Ребенку в праздник годовой,
Или как льстит бостон и мушка
Девице дряхлой и седой,—
Хоть иногда в тоске бессонной
Ей снится образ жениха,
Или как запах благовонный
Льстит вялым чувствам старика.
Вот все, что гадкими стихами
Поэт успел вам написать,
И за небрежными строками
Блестит безмолвия печать...
В моей избе готовят ужин,
Несут огромный чан ухи,
Стол ямщикам голодным нужен...
Прощайте, други и стихи!
Когда же есть у вас забота
Узнать, когда и где охота
Во мне припала до пера,—
В деревне *Лысая гора.*
<1832>

МОРЕ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
«О море, море! — я мечтал
В раздумье грустном и глубоком,—
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоем высоком?
Кто, неразгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?..
. . . .
. . . .
Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих надо мной?
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?
Что ты? Откуда? Из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззвавшей все из ничего?..
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты?»
Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море,
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны

Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырял пред бурей утлый челн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его:
В отваге он нашел измену!..
В другое время на брегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?

<1832>

ВОДОПАД

Между стремнин с горы высокой
Ручьи прозрачные журчат,
И вдруг, сливаясь в ток широкий,
Являют грозный водопад.
Громады волн буграми хлещут
В паденьи быстром и крутом
И, разлетевшись, ярко блещут
Вокруг серебряным дождем;
Ревет и стонет гул протяжный
По разорвавшейся реке
И, исчезая с пеной влажной,
Смолкает глухо вдалеке.
Вот наша жизнь! вот образ верный
Погибшей юности моей! —
Она в красе нелицемерной
Сперва катилась, как ручей;
Потом, в пылу страстей безумных,
Быстра, как горный водопад,

Исчезла вдруг при плесках шумных,
Как эха дальнего раскат.
Шуми, шуми, о сын природы!
Ты безотрадною порой
Певцу напомнил блеск свободы
Своей свободною игрой!

<1832>

ЧЕРКЕССКИЙ РОМАНС

Под тенью дуба векового,
В скале пустынной и крутой,
Сидит враг путника ночного —
Черкес красивый и младой.
Но он не замысел лукавый
Таит во мраке тишины,
Не дышит гибельною славой,
Не жаждет сечи и войны.
Томимый негой сладострастной,
Черкес любви минуту ждет
И так, в раздумье о прекрасной,
Свою тоску передает:
«Близка, близка пора свиданья!
Давно кипит и стынет кровь,
И просит верная любовь
Награды сладкой за страданья.
Где ты? спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!
Покойно всё в ауле сонном,
Оставь ревнивых стариков:
Они узреть твоих следов
Не могут в мраке благосклонном!
Где ты? спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!
Звезда любви родного края,
Ты — целый мир в моих очах!
В твоей груди, в твоих устах
Заключена вся прелесть рая!
Взошла луна... Спеши, спеши,
О дева, жизнь моей души!»
И вдруг, как ветер тиховейный,

Она явилась перед ним —
И обняла рукой лилейной
С восторгом пылким и немым!
И лобызает с негой томной
И шепчет: «Милый, я твоя!..»
И вздох невольный и нескромный
Волнует сильно грудь ея...
Она его!..
Но что мелькнуло
В седой ущелине скалы?
Что зазвенело и сверкнуло
Среди густой, полночной мглы?
Кто блещет шашкой обнаженной,
Внезапно с юношей сразясь?
Чей слышен голос разъяренный:
«Умри, с злодейкой не простясь!..»
Ее отец!.. Отрады ночи
Старик бессонный не вкусил,
Он подозрительные очи
С преступной девы не сводил;
Он замечал ее движенья,
Ее таинственный побег,
И в первый пыл ожесточенья
Дни обольстителя пресек...
Но где она? какую долю
Ей злобный рок определил?
Ужель на вечную неволю
Отец жестокий осудил,
И, изнывая в заточеньи,
Добычей гнева и стыда
Погибнет в жалком погребеньи
Любви виновной красота?..
Что с ней?.. Увы! вот дикий камень
Стоит над гробом у скалы:
Там светлых дней несчастный пламень
Давно погас — для вечной тьмы!
В тот самый миг, как друг прекрасный
В крови к ногам ее упал,
Последний вздох, прощальный, страстный,
Стеснил в груди ее кинжал!..

<1832>

АКТАШ-АУХ

На высоте пустынных скал,
Под ризой инеев пушистых,
Как сторож пасмурный, стоял
Дуб старый, царь дубов ветвистых.
Сражаясь с хладом облаков,
Встречая гордо луч денницы,
Один, далеко от дубров,
Служил он кровом хищной птицы.
Молниеносный ураган
Сверкнул в лазуревой пучине,
И разлетелся великан,
Как прах по каменной твердыне.
В вертепах дикой стороны,
Для чужеземца безотрадной,
Гнездились буйные сыны
Войны и воли кровожадной.
Долины мира возмущал
Брегов Акташа лютый житель;
Коварный гений охранял
Его преступную обитель.
Но где ты, сон минувших дней?
Тебя сменила жажда мщенья,
И сильный вождь богатырей
Рассеял сонм злоумышленья!
Акташа нет!.. Пробил конец
Безумству жалкого народа,
И не спасли тебя, беглец,
Твои кинжалы и природа!..
Где блещет солнце, где заря
Едва мелькает за горами —
Предстанет всюду пред врагами
Герой полночного царя.
<1832>

ЦЫГАНКА

Кто идет перед толпою
По широкой площади́
С загорелой красотою
На щеках и на груди?

Под разодранным покровом
Проницательна, черна,
Кто в величии суровом
Эта дивная жена?..
Вьются локоны небрежно
По нагим ее плечам,
Искры наглости мятежно
Разбежались по очам,—
И, страшней ударов сечи,
Как гремучая река,
Льются сладостные речи
У бесстыдной с языка.
Узнаю тебя, вакханка
Незабвенной старины:
Ты коварная цыганка,
Дочь свободы и весны!
Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня!
Ты знакома вдохновенью
Поэтической мечты,
Ты дарила наслажденью
Африканские цветы!
Ах, я помню... Но ужасно
Вспоминать лукавый сон;
Фараонка, не напрасно
Тяготит мне душу он!
Пронеслась с годами сила,
Я увял,— и наяву
Мне рука твоя вручила
Приворотную траву...

<1832>

ДЕМОН ВДОХНОВЕНЬЯ

Так, это он, знакомец чудный
Моей тоскующей души,
Мой добрый гость в толпе безлюдной
И в усыпительной глуши!

Недаром сердце угнетала
Непостижимая печаль:
Оно рвалось, летело вдаль,
Оно желанного искало.
И вот, как тихий сон могил,
Лобзаясь с хладными крестами,
Он благотворно осенил
Меня волшебными крылами,
И с них обильными струями
Сбежала в грудь мне крепость сил;
И он бесплотными устами
К моим бесчувственным приник,
И своенравным вдохновеньем
Душа зажглася с исступленьем,
И проглаголал мой язык:
«Где я, где я? Каких условий
Я был торжественным рабом?
Над Аполлоновым жрецом
Летает демон празднословий!»
Я вижу — злая клевета
Шипит в пыли змеиным жалом
И злая глупость, мать вреда,
Грозит мне издали кинжалом.
Я вижу, будто бы во сне,
Фигуры, тени, лица, маски;
Темны, прозрачны и без краски,
Густою цепью по стене
Они мелькают в виде пляски...
Ни па, ни такта, ни шагов
У очарованных духов...
То нитью легкой и протяжной,
Подобно тонким облакам,
То массой черной стоэтажной
Плывут, как волны по волнам...
Какое чудо! Что за вид
Фантасмагории волшебной!..
Все тени гимн поют хвалебный;
Я слышу, страшный хор гласит:
«О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!..
Мы не страшимся тяжкой муки:

Давно, давно привыкли к ней
В часы твоей угрюмой скуки,
Под звуком тягостных цепей;
С печальным месячным восходом
К тебе мы мрачным хороводом
Спешим, восставши из гробов,
На крыльях филинов и сов!
Сыны родительских проклятий,
Надежду вживе погубя,
Мы ненавидим и себя,
И злых и добрых наших братий!..
Когтями острыми мы рвем
Их изнуренные составы;
Страдая сами — зло за злом
Изобретаем мы, царь славы,
Для страшной демонской забавы,
Для наслажденья твоего!..
Воззри на нас кровавым оком:
Есть пир любимый для него!
И в утешении жестоком,
Сквозь мрак геенны и огни
Уста улыбкой проясни!
О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!»
И вдруг: и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Предстал на троне
Среди теней!
Умолкли стоны,
И миллионы
Волшебных лиц
Поверглись ниц!..
«Рабы мои, рабы мои,
Отступники небесного светила!
Над вами власть моей руки
От вечности доныне опочила,
И непреложен мой закон!..

Настанет день неотразимой злобы —
Пожрут, пожрут неистовые гробы
И солнце, и луну, и гордый небосклон:
Всё грозно дань заплатит
разрушенью —
И на развалинах миров
Узрите вы опять по тайному веленью
Во мне властителя страдающих
духов!..»
И вновь: и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Исчез на троне
Среди теней...
Всё тихо!.. Страшные виденья,
Как вихрь, умчались по стене,
И я, как будто в тяжком сне,
Опять с своей тоской сижу наедине...
Зачем ты улетел, о демон вдохновенья!..

<1833>

РАСКАЯНИЕ

Я согрешил против рассудка,
Его на миг я разлюбил:
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил.
Я променял святую совесть
На мщенье буйного глупца,
И отвратительная повесть
Гласит безумие певца.
Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой.
Кинжал коварный сожаленья
Притворной дружбы и любви
Теперь потонет без сомненья

В моей бунтующей крови.
Толпа знакомцев вероломных,
Их шумный смех, и строгий взор
Мужей значительно безмолвных,
И ропот дев неблагосклонных —
Всё мне и казнь и приговор!
Как чад неистовый похмелья,
Ты отлетела наконец,
Минута злобного веселья!
Проснись, задумчивый певец!
Где гармоническая лира,
Где барда юного венок?
Ужель повергнул их порок
К ногам ничтожного кумира?
Ужель бездушный идеал
Неотразимого разврата
Тебя, как жертву казомата,
Рукой поносной оковал?
О нет!.. Свершилось!.. Жар мятежный
Остыл на пасмурном челе...
Как сын земли, я дань земле
Принес чредою неизбежной:
Узнал бесславие, позор
Под маской дикого невежды,—
Но пред лицом Кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам
С цветов пустынных к небесам,
И передам моим струнам
И рев и вой минувшей бури.

<1833>

АХАЛУК

Ахалук мой, ахалук,
Ахалук демикотонный,
Ты работа нежных рук
Азиатки благосклонной!

Ты родился под иглой
Атагинки чернобровой,
После робости суровой
И любви во тьме ночной.
Ты не пышной пестротою,
Цветом гордых узденей,
Но смиренной простотою,
Цветом северных ночей
Мил для сердца и очей...
Черен ты, как локон длинный
У цыганки кочевой;
Мрачен ты, как дух пустынный —
Сторож урны гробовой;
И серебряной тесьмою,
Как волнистою струею
Дагестанского ручья,
Обвились твои края.
Никогда игра алмаза
У Могола на чалме,
Никогда луна во тьме,
Ни чело твое, о База —
Это бледное чело,
Это чистое стекло,
Споря в живости с опалом,
Под ревнивым покрывалом,—
Не сияли так светло.
Ах, серебряная змейка,
Ненаглядная струя —
Это ты, моя злодейка,
Ахалук суровый — я!

<1833>

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Опять она, опять Москва!
Редеет зыбкий пар тумана,
И засияла голова
И крест Великого Ивана!
Вот он — огромный Бриарей,
Отважно спорящий с громами,
Но друг народа и царей

С своими ста колоколами!
Его набат и тихий звон
Всегда приятны патриоту;
Не в первый раз, спасая трон,
Он влек злодея к эшафоту!
И вас, Реншильд и Шлиппенбах,
Встречал привет его громовый,
Когда, с улыбкой на устах,
Влачились гордо вы в цепях
За колесницею Петровой!
Дела высокие славян,
Прекрасный век Семирамиды,
Герои Альпов и Тавриды —
Он был ваш верный Оссиан,
Звучней, чем Игорев Баян.
И он, супруг твой, Жозефина,
Железный волей и рукой,
На векового исполина
Взирал с невольною тоской!
Москва под игом супостата,
И ночь, и бунт, и Кремль в огне —
Нередко нового сармата
Смущали в грустной тишине.
Еще свободы ярой клики
Таила русская земля;
Но грозен был Иван Великий
Среди безмолвного Кремля;
И Святослава меч кровавый
Сверкнул над буйной головой,
И, избалованная славой,
Она склонилась величаво
Перед торжественной судьбой!..
Восстали царства; пламень брани
Под небом Африки угас,
И звучно, звучно с плеском дланей
Слился Ивана шумный глас!..
И где ж, когда в скрижаль отчизны
Не вписан доблестный Иван?
Всегда, везде без укоризны
Он русской правды алкоран!..
Люблю его в войне и мире,
Люблю в обычной простоте
И в пышной пламенной порфире,

Во всей волшебной красоте,
Когда во дни воспоминаний
Событий древних и живых,
Среди щитов, огней, блистаний,
Горит он в радугах цветных!..
Томясь желаньем ненасытным
Заняться важно суетой,
Люблю в раздумье любопытном
Взойти с народною толпой
Под самый купол золотой
И видеть с жалостью оттуда,
Что эта гордая Москва,
Которой добрая молва
Всегда дарила имя чуда,—
Песку и камней только груда.
Без слов коварных и пустых
Могу прибавить я, что лица,
Которых более других
Ласкает матушка-столица,
Оттуда видны без очков,
Поверьте мне, как вереница
Обыкновенных каплунов...
А сколько мыслей, замечаний,
Философических идей,
Филантропических мечтаний
И романтических затей
Всегда насчет других людей
На ум приходит в это время!
Какое сладостное бремя
Лежит на сердце и душе!
Ах, это счастье без обмана,
Оно лишь жителей Монблана
Лелеет в вольном шалаше!
Один крестьянин полудикий
Недаром вымолвил в слезах:
«Велик господь на небесах,
Велик в Москве Иван Великий!..»
Итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цвети, Иван Кремлевский,
И, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!..

<1833>

ИМЕНИННИКУ

Что могу тебе, Лозовский,
Подарить для именин?
Я, по милости бесовской,
Очень бедный господин!
В стоицизме самом строгом,
Я живу без серебра,
И в шатре моем убогом
Нет богатства и добра,
Кроме сабли и пера.
Жалко споря с гневной службой,
Я ни гений, ни солдат,
И одной твоею дружбой
В доле пагубной богат!
Дружба — неба дар священный,
Рай земного бытия!
Чем же, друг неоцененный,
Заплачу за дружбу я?
Дружбой чистой, неизменной,
Дружбой сердца на обмен:
Плен торжественный за плен!..
Посмотри: невольник страждет
В неприятельских цепях
И напрасно воли жаждет,
Как источника в степях.
Так и я, могучей силой
Предназначенный тебе,
Не могу уже, мой милый,
Перекорствовать судьбе...
Не могу сказать я вольно:
«Ты чужой мне, я не твой!»
Было время — и довольно...
Голос пылкий и живой
Излетел, как бури вой,
Из груди моей суровой...
Ты услышал дивный звук,
Громкий отзыв жизни новой —
И уста и пламень рук,
Будто с детской колыбели,
Навсегда запечатлели
В нас святое имя: друг!

В чем же, в чем теперь желанье
Имениннику души:
Это верное признанье
Глубже в сердце запиши!..

30 августа 1833
На Лубянке, дом Лухманова

ВИДЕНИЕ БРУТА

Слетела ночь в красе печальной
На Филиппинские поля;
Последний луч зари прощальной
Впила холодная земля.
Между враждебными шатрами
Народа славы и войны
Туман сгущенными волнами
Разнес отраду тишины.
Тревоги ратной гул мятежный,
Стук копий, броней и мечей
Умолк; кой-где в дали безбрежной
Мелькает зарево огней;
Протяжно стонет конский топот,
И, замирая в тьме ночной,
Сливает эхо звучный ропот
С отзывом стражи боевой.
И тихо всё... Судьба вселенной
Погружена в глубокий сон;
Один булат окровавленный
Предпишет с утром ей закон.
Но чей булат окровавленный?
Святой защитник вольных стран
Или поносный и презренный —
Булат — убийца сограждан?
Погибнет сонм триумвирата,
Или, презревши долг и честь,
Готовит римлянин для брата
Позор и цезарскую месть?..
Всё спит... Ужасная минута!..
Ужель зловещий, тяжкий сон
Смыкает также очи Брута?
Ужель не бодрствует и он?

О нет, волнуясь жаждой боя,
В его груди пылает кровь:
В его груди, в душе героя
Кипит к отечеству любовь!..
Во тьме полуночи глубокой,
Угрюм, задумчив и уныл,
Под кровом ставки одинокой
Он безотрадно опочил.
Но сна вотще искали вежды:
Предчувствий горестных толпа,
И отдаленные надежды,
И своенравная судьба —
Его насильственно терзали;
Он ждал, он видел море бед —
За думой черной налетали
Другие черные вослед.
То, жертва сильных впечатлений,
В волненьи памяти живой
Он воскрешал угасший гений,
Судьбу страны своей родной:
Он пробегал картины славы,
Те достопамятные дни,
Когда Рим гордый, величавый
Был удивлением земли;
Когда Камиллы, Сципионы
Дробили в гневе роковом
Составы царств, крушили троны
Народной вольности мечом;
Когда рождались для потомства
Сцеволы, Регул, Цинцинат;
Когда был Рим без вероломства
Свободной бедностью богат...
То снова в вихрь переворотов
Проникнув с тайною тоской,
Он видел гибель патриотов
Над их потупленной главой:
Раздоры Мария и Силлы,
Как бурный нравственный потоп,
Разрушив щит народной силы,
Повергли Рим в кровавый гроб;
Два солнца Рима, два злодея
В крови отчизны возросли —
Помпей и Цезарь... Прах Помпея

С гражданской жизнью погребли...
Лепид, Октавий, Марк-Антоний
Судьбы заутра изрекут:
Иль самовластие на троне,
Или свободный Рим и Брут.

«Глава, десница заговора,
Я первый вольность пробудил;
Я первый гения раздора,
Завоевателя Босфора,
Отца и друга умертвил...
Ничтожный, робкий сонм сената
Моей надежде изменил,
И пред мечом триумвирата
Колена рабства преклонил.
Позор мужей, позор вселенной,
Тебя проклятие веков
Постигнет тенью раздраженной
В пределах смерти, в тьме гробов!
Звучат, о Рим, твои оковы —
Безгласен доблестный народ,—
Но, Рим, отмстители готовы!
Тарквиний, час твой настает!
Ударит он, сей вестник казни,
Его зловещий, грозный бой
Отгрянет с ужасом боязни
В сердцах отваги роковой!..
Последний раз поля отчизны
Я потоплю в крови родной,
И клик безумный укоризны
Иль голос славы вековой
Предаст потомкам дальним повесть
О битве будущего дня
И пощадит, быть может, совесть
Убийцы друга и царя!»
Так вождь свободных ополчений
Мечтал в порыве бурных дум;
Так заглушал змею мучений,
Тоску души высокий ум...
Густеет ночь; между шатрами
Молчанье мертвое и сон;
Луна закрыта облаками;
Герой в забвенье погружен;

Он жаждет сна, смыкает очи...
Но вдруг глухой, протяжный гул
В священном царстве полуночи,
Как вихорь, ставку размахнул.
Колосс огромного призра́ка
Из тучи воздуха растет
И в ризе ужаса и мрака
Очам героя предстает...
Бесстрашный видит и трепещет:
Пред ним убийственный кинжал...
Извлек его, отмститель блещет —
Шатер раздался, дух пропал...
«Так я узнал — мой злобный гений!
Он всё решил, он всё сказал —
Конец несчастных покушений!..»

День битвы пагубной настал.
Шумят знамена бранной чести —
Триумвират непобедим,
И сын отваги, сонн мести
Свободный пал за падший Рим!..

<1833>

ДУХИ ЗЛА

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада,
А жизнь — мученье без конца.

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благости изрек:
«Да будет прах величия основой!»
И встал из праха человек...

Тогда ему, светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын его любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого,
Вились архангелов рои.

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом,
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огнь невинности покорной
В сынах бессмертия потух —
И грозно пал, с гордынею упорной,
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд!.. Могучая десница
Подъяла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия,
И отказал в надежде примиренья
Ему правдивый судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состр833
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам,
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам!

8 июля 1834
Село Ильинское

*

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни *тридцать лет*,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

<1834, июнь—июль>

К ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ БИБИКОВОЙ

Таланты ваши оценить
Никто не в силах, без сомненья!
Того ни с чем нельзя сравнить,
Что выше всякого сравненья!..
Вы рождены пленять сердца
Душой, умом и красотою
И чувств высоких полнотою
Примерной матери и редкого отца.
О, тот постигнул верх блаженства,
Кто высшей цели идеал,
Кто все земные совершенства
В одном созданье увидал.
Кому же? Мне, рабу несчастья,
Приснился дивный этот сон —
И с тайной силой самовластья
Упал, налег на душу он.
Я вижу! нет, не сновиденье
Меня ласкает в тишине!
То не волшебное явленье
Страдальцу в дальней стороне!
Не гармоническая лира
Звучит и стонет надо мной
И из вещественного мира
Зовет, зовет меня с собой
К моей отчизне неземной!..
Нет — это вы! Не очарован
Я бредом пылкой головы...
Цепями грусти не окован
Мой дух свободный... Это вы!..

Кто, кроме вас, творящими перстами,
Единым очерком холодного свинца
Дает огонь и жизнь, с минувшими страстями,
Чертам бездушным мертвеца?
Чья кисть, назло природе горделивой,
Враждует с ней на лоске полотна
И воскрешает прихотливо,
Как мощный дух, века и времена?
Так это вы!.. Я перед вами...
Вы мой рисуете портрет —
И я мирюсь с жестокими врагами,
Мирюсь с самим собой! Я вижу новый свет!
Простите смелости безумной
Певца, гонимого судьбой,
Который, после бури шумной,
В эмали неба голубой
Следит звезду надежды благосклонной
И, счастливый, в тени приветливой садов
Пьет жадно воздух благовонный
Ароматических цветов.

11 июля 1834
Село Ильинское

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

О, грустно мне!.. Вся жизнь моя — гроза!
Наскучил я обителью земною!
Зачем же вы горите предо мною,
Как райские лучи пред сатаною,
Вы — черные волшебные глаза?

Увы! давно печален, равнодушен,
Я привыкал к лихой моей судьбе,
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен!..

Старинный раб мучительных страстей,
Я испытал их бремя роковое;
И буйный дух и сердце огневое —
Я всё убил в обманчивом покое,
Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной
Я не страдал, как робкая жена:
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна
Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я с думою суровой,
И свисту бурь, под молнией багровой,
Внимать, как муж отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал.

И, погрузясь в преступные сомненья
О цели бытия, судьбу кляня,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход
От дерзких дум до света провиденья;
Я избегал невинного творенья,
Которое б могло, из сожаленья,
Моей душе дать выспренний полет.

И вдруг оно, как ангел благодатный...
О нет! как дух карающий и злой,
Светлее дня, явилось предо мной
С улыбкой роз, пылающих весной
На мураве долины ароматной.

Явилось... всё исчезло для меня:
Я позабыл в мучительной невзгоде
Мою любовь и ненависть к природе,
Безумный пыл к утраченной свободе
И всё, чем жил, дышал доселе я...

В ее очах алмазных и приветных
Увидел я с невольным торжеством
Земной эдем!.. Как будто существом
Других миров, как будто божеством
Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай, и дева-красота
Лила мне в грудь невыразимым взором
Невинную любовь с таинственным
укором,
И пела в ней душа небесным хором:
«Люби меня... и в очи и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,
Как мотылек лилею поутру!
Люби меня, как милую сестру,
И снова я и к небу и к добру
Направлю твой рассудок омертвелый!»

И этот звук разгаданных речей,
И эта песнь души ее прекрасной,
В восторге чувств и неги
сладострастной,
Гремели в ней, волшебнице опасной,
Сверкали в зеркале ее очей!..

Напрасно я мой гений горделивый,
Мой злобный рок на помощь призывал:
Со мною он как друг изнемогал,
Как слабый враг пред мощным
трепетал:
И я в цепях пред девою стыдливой.

В цепях!.. Творец!.. Бессильное дитя
Играет мной по воле безотчетной,
Казнит меня с улыбкой беззаботной,
И я, как раб, влачусь за ним охотно,
Всю жизнь мою страданью посвятя!..

Но кто она, прелестное созданье?
Кому любви беспечной и живой
Приносит дар, быть может, роковой?
Увы! где тот, кто девы молодой
Вопьет в себя невинное дыханье?..

Гроза и гром!.. Ужель мои уста
Произнесут убийственное слово?
Ужели всё в подсолнечной готово
Лишить меня прекрасного земного?..
Так! я лишен, лишен — и навсегда!..

Кто видел терн колючий и бесплодный
И рядом с ним роскошный виноград?
Когда ж и где равно их оценят
И на одной гряде соединят?
Цветет ли мирт в Лапландии холодной?..

Вот жребий мой! Благие небеса!
Быть может, я достоин наказанья;
Но я с душой — могу ли без роптанья
Сносить мои жестокие страданья?
Забуду ль вас,— о черные глаза?

Забуду ль те бесценные мгновенья,
Когда с тобой как друг, наедине,
Как нежный друг, при солнце и луне
Я заводил беседы в тишине
И изнывал в тоске, без утешенья!

Когда между развалин и гробов
Блуждали мы с унылыми мечтами,
И вечный сон над мирными крестами,
И смерть, и жизнь летали перед нами,
И я искал покоя мертвецов,—

Тогда одной рассеянною думой
Питали мы знакомые сердца...
О, как близка могила от венца!
И что́ любовь — не прах ли мертвеца?..
И я склонял к могилам взор угрюмый.

И ты, бледна, с потупленной главой,
Следила ход мой, быстрый и неровный:
Ты шла за мной, под тенью дубровной
Была со мной... и я наш мир духовный
Не променял на счастливый земной...

И сколько раз над нежной Элоизой
Я находил прекрасную в слезах,
Иль, затая дыханье на устах,
Во тьме ночной стерег ее в волнах,
Где иногда, под сумрачною ризой,

Бела, как снег, волшебные красы
Она струям зеркальным предавала,
А между тем стыдливо обнажала
И грудь и стан, и ветром развевало
И флер ее и черные власы...

Смертельный яд любви неотразимой
Меня терзал и медленно губил;
Мне снова мир, как прежде, опостыл...
Быть может... нет! мой час уже пробил,
Ужасный час, ничем неотвратимый!

Зачем гневить безумно небеса?
Ее уж нет!.. Она цветет и ныне...
Но где?.. Для чьей цветет она гордыни?
Чей фимиам курится для богини?..
Скажите мне,— о черные глаза!

<1834>

НЕГОДОВАНИЕ

Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное,
В блеске радужных лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось от очей!
Ты не светишь мне по-прежнему,
Не горишь в моей груди —
Предан року неизбежному
Я на жизненном пути.
Тучи мрачные, громовые
Над главой моей шумят;

Предвещания суровые
Дух унылый тяготят.
Ах, как много драгоценного
Я в сей жизни погубил!
Как я идола презренного —
Жалкий мир — боготворил!
С силой дивной и кичливою
Добровольного бойца
И с любовию ревнивою
Исступленного жреца
Я служил ему торжественно,
Без раскаянья страдал
И рассудка луч божественный
На безумство променял!
Как преступник, лишь окованный
Правосудною рукой,—
Грозен ум, разочарованный
Светом истины нагой!
Что же?.. Страсти ненасытные
Я таил среди огня,
И друзья — злодеи скрытные —
Злобно предали меня!
Под эгидою ласкательства,
Под личиною любви
Роковой кинжал предательства
Потонул в моей крови!
Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов,
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Торжествуют на земле!
Люди, люди развращенные —
То рабы, то палачи,—
Бросьте, злобой изощренные,
Ваши копья и мечи!
Не тревожьте сталь холодную —

Лютой ярости кумир!
Вашу внутренность голодную
Не насытит целый мир!
Ваши зубы кровожадные
Блещут лезвием косы —
Так грызитесь, плотоядные,
До последнего, как псы!..

<1835>

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

В темной горнице постель;
Над постелью колыбель;
В колыбели с полуночи
Бьется, плачет что есть мочи
Беспокойное дитя...
Вот, лампаду засветя,
Чернобровка молодая
Суетится, припадая
Белой грудью к крикуну,
И лелеет, и ко сну
Избалованного клонит,
И поет, и тихо стонет
На чувствительный распев
Девяностолетних дев:

Усыпительная песня

«Да усни же ты, усни,
Мой хороший молодец!
Угомон тебя возьми,
О постылый сорванец!
Баю-баюшки-баю!

Уж и есть ли где такой
Сизокрылый голубок,
Ненаглядный, дорогой,
Как мой миленький сынок?
Баю-баюшки-баю!

Во зеленом во саду
Красно вишенье растет;
По широкому пруду
Белый селезень плывет.
Баю-баюшки-баю!

Словно вишенье румян,
Словно селезень он бел —
Да усни же ты, буян!
Не кричи же ты, пострел!
Баю-баюшки-баю!

Я на золоте кормить
Буду сына моего;
Я достану, так и быть,
Царь-девицу для него...
Баю-баюшки-баю!

Будет важный человек,
Будет сын мой генерал...
Ну, заснул... хоть бы навек!
Побери его провал!
Баю-баюшки-баю!»

Свет потух над генералом;
Чернобровка покрывалом
Обвернула колыбель —
И ложится на постель...
В темной горнице молчанье,
Только тихое лобзанье
И неясные слова
Были слышны раза два...
После, тенью боязливой,
Кто-то, чудилося мне,
Осторожно и счастливо,
При мерцающей луне,
Пробирался по стене.

<1835>

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Была пора — за милый взгляд
Очаровательно-притворный
Платить я жизнию был рад
Красе обманчиво-упорной!
Была пора — и ночь и день
Я бредил хитрою улыбкой,
И трудно было мне, и лень
Расстаться с жалкою ошибкой.
Теперь пора веселых снов
Прошла, рассорилась с поэтом —
И я за пару нежных слов
Себя безумно не готов
Отправить в вечность пистолетом.
Теперь хранит меня судьба:
Пленяюсь женщиной, как прежде,
Но разуверился в надежде
Увидеть розу без шипа.

<1835>

САРАФАНЧИК

Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
　　Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
　　Я надела вечерком —
　　　　Сарафанчик,
　　　　Расстеганчик!

В разноцветном хороводе
Я играла на свободе
　　И смеялась, как дитя!
И в светлицу до рассвета
Воротилась; только где-то
　　Разорвала я, шутя,
　　　　Сарафанчик,
　　　　Расстеганчик!

Долго мать меня журила
И до свадьбы запретила
   Выходить за ворота;
Но за сладкие мгновенья
Я тебя без сожаленья
   Оставляю навсегда,
      Сарафанчик,
      Расстеганчик!

<1835>

КРАСНОЕ ЯЙЦО

А. П. Лозовскому

1

В те времена, когда вампир
Питался кровию моей,
Когда свобода, мой кумир,
Узнала ужасы цепей;
Когда, поверженный во мгле,
С клеймом проклятья на челе,
В последний раз на страшный бой,
На беспощадную борьбу,
Пылая местью роковой,
Я вызывал свою судьбу;
Когда, сурова и грозна,
Секиру тяжкую она
Уже подъяла надо мной —
И разлетелся бы мой щит,
Как вал девятый и седой,
Ударясь смело о гранит;
Когда в печальной тишине
Я лютой битвы ожидал,—
Тогда как вестник мира мне
Ты неожиданно предстал!
Мою бунтующую кровь
С умом мятежным помирил
И в душу мрачную любовь
К постылой жизни водворил...

Так солнца ясного лицо
Рассеивает ночи тень,
Так узнику в великий день
Дарують красное яйцо!

2

Всему в природе есть закон:
Луна сменяется луной,
И годы мчит река времен
Невозвратимою волной!
Лучи обманчивых надежд
Еще горят во тьме ночей...
. . . .
. . . .
Моя судьба — то иногда
Мне улыбнется вдалеке,
То, как знакомая мечта,
Опять с секирою в руке
И опершись на эшафот,
Мне безотрадно предстает...
Тоска, отчаянье и грусть
Мрачат лазурный небосклон
Певца, который наизусть
Врагом и другом затвержен...
Безмолвен, мрачен и угрюм,
Я дань бесславию плачу
И, в вечном вихре черных дум,
Оковы тяжкие влачу!..
. . . .
Лишь ты один меня постиг...
Кому, скажи, как не тебе,
Знаком в убийственной судьбе
Прямой души моей язык?..
Не ты ль один моих страстей
Прочел заветную скрижаль
И разгадал, быть может, в ней
Туманной будущности даль?
Не ты ли дикий каземат
Преобразил, волшебник мой,
В цветник приятный и живой,
В весенний скромный вертоград?

3

И пронеслося много лет
С тех пор, когда явился ты,
Как животворный тихий свет
Ко мне, в обитель темноты...
И где воинственный Кавказ
С его суровой красотой,
Где я с унылою мечтой
Бродил, страдал, но не угас!
Где дни отрады, новых мук,
Свиданий новых и разлук,
Минуты дружеских бесед,
Порывы бешеных страстей
И все и всё?.. Их больше нет,
Они лишь в памяти моей.
Но сам я здесь, опять с тобой,
С тобою, верный, милый друг,
Как гул протяжный, тихий звук
Иль эхо с арфой золотой!..

Апрель 1836
Москва

РУССКИЕ ПЕСНИ

I

Разлюби меня, покинь меня,
Доля, долюшка железная!
Опротивела мне жизнь моя,
Молодая, бесполезная!

Не припомню я счастливых дней —
Не знавал я их с младенчества!
Для измученной души моей
Нет в подсолнечной отечества!

Слышал я, что будто божий свет
Я увидел с тихим ропотом,
А потом житейских бурь и бед
Не избегнул горьким опытом.

Рано-рано ознакомился
Я на море с непогодою;
Поздно-поздно приготовился
В бой отчаянный с невзгодою!

Закатилася звезда моя,
Та ль звезда моя туманная,
Что следила завсегда меня,
Как невеста нежеланная!

Не ласкала, не лелеяла,
Как любовница заветная,
Только холодом обвеяла,
Как изменница всесветная!

II

Долго ль будет вам без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди?
Долго ль будет вам увлаживать поля?
Осушится ль скоро мать-сыра-земля?
Тихий ветер свежий воздух растворит —
И в дуброве соловей заголосит.
И придет ко мне, мила и хороша,
Юный друг мой, красна-девица-душа.

Соловей мой, соловей,
Ты от бури и дождей,
Ты от пасмурных небес
Улетел в дремучий лес.
Ты не свищешь, не поешь —
Солнца ясного ты ждешь!

Дева-девица моя,
Ты от бури и дождя
И печальна и грустна,
В терему схоронена!
К другу милому нейдешь —
Солнца ясного ты ждешь!

Перестаньте же без умолку идти,
Проливные безотрадные дожди!
Дайте вёдру, дайте солнцу проглянуть!
Дайте сердцу после горя отдохнуть!

Пусть, как прежде, и прекрасна, и пышна,
Воцарится благотворная весна,
Разольется в звонкой песне соловей —
И я снова, сладострастней и звучней,
Расцелую очи девицы моей!

<1836>

ОТЧАЯНИЕ

Он ничего не потерял, кроме надежды.
А. Пушкин

О, дайте мне кинжал и яд,
Мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
Мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь, как на позор —
Пора расстаться с своенравной
И произнесть ей приговор
Последний, страшный и бесславный!
Что в ней? Зачем я на земле
Влачу убийственное бремя?..
Скорей во прах!.. В холодной мгле
Покойно спит земное племя:
Ничто печальной тишины
Костей иссохших не тревожит,
И череп мертвой головы
Один лишь червь могильный гложет.
Безумство, страсти и тоска,
Любовь, отчаянье, надежды
И всё, чем славились века,
Чем жили гении, невежды,—
Всё праху, всё заплатит дань,
До той поры, пока природа
В слух уничтоженного рода
Речет торжественно: «Восстань!»

<1836>

К МОЕМУ ГЕНИЮ

Ужель, мой гений быстролетный,
Ужель и ты мне изменил,
И думой черной, безотчетной,
Как тучей, сердце омрачил?
Погасла яркая лампада —
Заветный спутник прежних лет,
Моя последняя отрада
Под свистом бурь, на море бед...
Давно челнок мой одинокой
Скользит по яростной волне,
И я не вижу в тьме глубокой
Звезды приветной в вышине;
Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов...
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: «Воскресни и живи!»
Я оживал... Но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня — и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок —
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует,
Над бедным плавателем рок.
Явись же, гений прихотливый!
Явись опять передо мной
И проведи меня счастливо
К стране, знакомой с тишиной!

<1836>

ВЕНОК НА ГРОБ ПУШКИНА

Oh, qu'il est saint et pur le transport du poète,
Quand il voit en espoire, bravant la mort muette,
Du voyage de temps sa gloire revenïr!
Sur les âges futurs, de sa hanteure sublime,
Il se penche, écoutant son lointain souvenir:
Et son nom, comme un poids jeté dan un abime,
Evelle mille écho au fond de l'avenir!

V. Hugo

I

Эпоха! Год неблагодарный!
Россия, плачь! Лишилась ты
Одной прекрасной, лучезарной,
Одной брильянтовой звезды!
На торжестве великом жизни
Угас для мира и отчизны
Царь сладких песен, гений лир!
С лица земли, шумя крылами,
Сошел, увенчанный цветами,
Народной гордости кумир!

И поэтические вежды
Сомкнула грозная стрела,
Тогда как светлые надежды
Вились вокруг его чела!
Когда рука его сулила
Нам тьму надежд, тогда сразила
Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...
О, плачь, Россия, долго плачь!
Давно ль тебя из недр пустыни полудикой
Возвел для бытия и славы Петр Великой,
Как деву робкую на трон!
Давно ли озарил лучами просвещенья
С улыбкою отца, любви и ободренья
Твой полунощный небосклон.
Под знаменем наук, под знаменем свободы
Он новые создал великие народы;
Их в ризы новые облек;

И ярко засиял над царскими орлами,
Прикрытыми всегда победными громами,
Младой поэзии венок.
Услыша зов Петра, торжественный и
громкий,
Возникли: старина, грядущие потомки,
И Кантемир и Феофан;
И, наконец, во дни величия и мира
Возникла и твоя божественная лира,
Наш Холмогорский великан!
И что за лира: жизнь! Ее златые струны
Воспоминали вдруг и битвы и перуны
Стократ великого царя,
И кроткие твои дела, Елисавета,
И пели все они в услышание света
Под смелой дланью рыбаря!
Открылась для ума неведомая сфера;
В младенческих душа зиждительная вера
Во всё прекрасное зажглась;
И счастия заря роскошно и приветно
До скал и до степей Сибири многоцветной
От вод Балтийских разлилась!
Посеяли тогда изящные искусства
В груди богатырей возвышенные чувства;
Окреп полмира властелин,
И обрекли его, в воинственной державе,
Бессмертию веков, незакатимой славе
Петров, Державин, Карамзин!

II

Потом, когда неодолимый
Сын революцьи, Бонапарт,
Вознес рукой непобедимой
Трехцветный Франции штандарт;
Когда под сень его эгиды
Склонились робко пирамиды
И Рима купол золотой;
Когда смущенная Европа
В волнах кровавого потопа
Страдала под его пятой;
Когда отважный, вне законов,

Как повелительное зло,
Он диадимою Бурбонов
Украсил дерзкое чело;
Когда, летая над землею,
Его орлы, как будто мглою,
Мрачили день и небеса;
Когда муж пагубы и рока
Устами грозного пророка
Вещал вселенной чудеса;
Когда воинственные хоры
И гимны звучные певцов
Ему читали приговоры
И одобрения веков;
И в этом гуле осуждений,
Хулы, вражды, благословений
Гремел, гремел, как дикий стон,
Неукротимый и избранный,
Под небом Англии туманной
Твой дивный голос, о Байрон! —
Тогда, тогда в садах Лицея,
Природный русский соловей,
Весенней жизнью пламенея,
Расцвел наш юный корифей;
И гармонические звуки
Его младенческие руки
Умели рано исторгать.
Шутя пером, играя с лирой,
Он Оссиановой порфирой
Хотел, казалось, обладать.
Он рос, как пальма молодая
На иорданских берегах,
Главу высокую скрывая
В ему знакомых облаках;
И, друг волшебных сновидений,
Он понял тайну вдохновений,
Глагол всевышнего постиг;
Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик —
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык!

III

И стал он петь и, всё вокруг него внимало;
Из радужных цветов вручил он покрывало
Своей поэзии нагой.
Невинна и смела, божественная дева
Отважному ему позволила без гнева
Ласкать, обвить себя рукой;
И странствовала с ним, как верная подруга,
По лаковым парке́ блистательного круга
Временщиков, князей, вельмож;
Входила в кабинет ученых и артистов,
И в залы, где шумят собрания софистов,
Меняя истину на ложь;
Смягчала иногда, как гений лучезарный,
Гонения судьбы то славной, то коварной;
Была в тоске и на пирах,
И вместе пронеслась, как буйная зараза,
Над грозной высотой мятежного Кавказа
И Бессарабии в степях.
И никогда нигде его не покидала;
Как милое дитя, задумчиво играла
Или волной его кудрей,
Иль бледное чело, объятое мечтами,
Любила украшать небрежными перстами
Венком из лавров и лилей.
И были времена: унылый и печальный,
Прощался иногда он с музой гениальной,
Искал покоя, тишины;
Но и тогда, как дух, приникнув к изголовью,
Она его душе с небесною любовью
Дарила праведников сны.
Когда же, утомясь минутным упоеньем,
Всегдашним торжеством, высоким наслажденьем,
Всегда юна, всегда светла,
Красавица земли, она смыкала очи,
То было на цветах, а их во мраке ночи
Для ней рука его рвала.
И в эти времена всеведущая Клио
Являлась своему любимцу горделиво,
С скрижалью тайною веков;

И пел великий муж великие победы,
И громко вызывал, о праотцы и деды,
Он ваши тени из гробов!

IV

Где же ты, поэт народный,
Величавый, благородный,
Как широкий океан;
И могучий и свободный,
Как суровый ураган?
Отчего же голос звучный,
Голос, с славой неразлучный,
Своенравный и живой
Уж не царствует над скучной,
Полумертвою душой,
Не владеет нашей думой,
То отрадной, то угрюмой,
По внушенью твоему?
Не всегда ли безотчетно,
Добровольно и охотно
Покорялись мы ему?
О так, о так, певец Людмилы и Руслана,
Единственный певец волшебного фонтана,
Земфиры, невских берегов,
Певец любви, тоски, страданий неизбежных,
Ты мчал нас, уносил по лону вод мятежных
Твоих пленительных стихов;
Как будто усыплял их ропот грациозный,
Как будто наполнял мечтой религиозной
Давно почивших мертвецов.
И долго, превратясь в безмолвное вниманье,
Прислушивались мы, когда их рокотанье
Умолкнет с отзывом громов.
Мы слушали, томясь приятным ожиданьем,—
И вдруг, поражена невольным содроганьем,
Россия, мрачная, в слезах,
Высоко над главой Поэзии печальной
Возносит не венок, но факел погребальный,
И Пушкин — труп, и Пушкин — прах!
Он — прах! Довольно! Прах, и прах
непробудимый!

Угас, и навсегда, мильонами любимый,
Державы северной Баян!
Он новые приял, нетленные одежды
И к небу воспарил под радугой надежды,
Рассея вечности туман!

V

Гимн смерти

Совершилось: дивный гений,
Совершилось: славный муж
Незабвенных песнопений
Отлетел в страну видений,
С лона жизни в царство душ!
Пир унылый и последний
Он окончил на земле;
Но, бесчувственный и бледный,
Носит он венок победный
На возвышенном челе.
О, взгляните, как свободно
Это гордое чело!
Как оно в толпе народной
Величаво, благородно,
Будто жизнью расцвело!
Если гибельным размахом
Беспощадная коса
Незнакомого со страхом
Уравнять умела с прахом,
То узрел он небеса!
Там под сению святого,
Милосердного творца
Без печального покрова
Встретят жителя земного,
Знаменитого певца.
И благое провиденье
Слово мира изречет,
И небесное прощенье,
Как земли благословенье,
На главу его сойдет...
Тогда, как дух бесплотный, величавый,
Он будет жить бессумрачною славой,
Увидит яркий, светлый день;

И пробежит неугасимым оком
Мильон миров, в покое их глубоком,
        Его торжественная тень;
И окружит ее над облаками
Теней, давно прославенных веками,
        Необозримый легион:
Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни...
И руку ей с улыбкою приязни
        Подаст задумчивый Байрон;
И между тем, когда в России изумленной
Оплакали тебя и старец и младой,
И совершили долг последний и священный,
Предав тебя земле холодной и немой,
И, бледная, в слезах, в печали безотрадной,
Поэзия грустит над урною твоей,—
Неведомый поэт, но юный, славы жадный,
О Пушкин! преклонил колено перед ней.
Душистые венки великие поэты
Готовят для нее — второй Анакреон;
Но верю я: и мой в волнах суровой Леты
С рождением своим не будет поглощен —
На пепле золотом угаснувшей планеты
Несмелою рукой он с чувством положен.

Утешение

«Над лирою твоей разбитою, но славной
Зажглася и горит прекрасная заря!
Она облечена порфирою державной
        Великодушного царя».

Январь — 3 марта 1837

*

Ай, ахти! ох, ура,
Православный наш царь,
Николай государь,
В тебе мало добра!
Обманул, погубил
Ты мильоны голов,—

Не сдержал, не свершил
Императорских слов!..
Ты припомни, что мы,
Не жалея себя,
Охранили тебя
От большой кутерьмы,
Охранили, спасли
И по братним телам,
Со грехом пополам,
На престол возвели!
Много, много сулил
Ты солдатам тогда;
Миновала беда —
И ты всё позабыл!
Помыкаешь ты нас
По горам, по долам,
Не позволишь ты нам
Отдохнуть ни на час!
От стальных тесаков
У нас спины трещат,
От учебных шагов
У нас ноги болят!
День и ночь наподряд,
Как волов наповал,
Бьют и мучат солдат
Офицер и капрал.
Что же, белый отец,
Своих черных овец
Ты стираешь с земли?
Или думаешь ты
Нами вечно играть
И что — ... мать
Лучше доброй молвы?
Так у . . . . . . ,
Православный наш царь,
Николай государь.
Ты болван наших рук;
Мы склеили тебя
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!

<1830-е>

ТЮРЬМА

«Воды, воды!..» Но я напрасно
Страдальцу воду подавал.
А. Пушкин

I

За решеткою, в четырех стенах,
Думу мрачную и любимую
Вспомнил молодец, и в таких словах
Выражал он грусть нестерпимую:

II

«Ох ты, жизнь моя молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегаешь ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменно́й Москвы!

III

Для кого же, недоброхотная,
Против воли я часто ратовал?
Иль, красавица беззаботная,
День обманчивый тебя радовал?

IV

Кто видал, когда на лихом коне
Проносился я степью знойною?
Как сдружился я, при седой луне,
С смертью раннею, беспокойною?

V

Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу,
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну-девицу?

VI

Штофы, бархаты, ткани цветные
Саблей острою ей отмеривал,
И заморские вина светлые
В чашах недругов после пепивал?

VII

Знали все меня — знал и стар, и млад,
И широкий дол, и дремучий лес...
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук желез...

VIII

Воля волюшка драгоценная!
Появись ты мне, несчастливому,
Благотворная, обновленная —
Не отдай судье нечестивому!..»

IX

Так он, молодец, в четырех стенах,
Страже передал мысль любимую;
Излилась она, замерла в устах —
И кто понял грусть нестерпимую?..

<1837>

ОСУЖДЕННЫЙ

Нас было двое — брат и я...
А. Пушкин

1

Я осужден! К позорной казни
Меня закон приговорил!
Но я печальный мрак могил
На плахе встречу без боязни,
Окончу дни мои, как жил.

2

К чему раскаянье и слезы[1]
Перед бесчувственной толпой,
Когда назначено судьбой
Мне слышать вопли и угрозы
И гул проклятий за собой?

3

Давно душой моей мятежной
Какой-то демон овладел,
И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел...

4

Не розы светлого Пафоса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине,—
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

5

Меня постигла дума эта
И ознакомилась со мной,
Как холод с южною весной,
Или фантазия поэта
С унылой северной луной.

6

Мои утраченные годы
Текли, как бурные ручьи,

---

[1] К чему раскаянье и слезы и проч... Это язык человека, закоренелого в злодействах. Отчаяние, верный спутник целой его жизни, оскверненной преступлениями, не оставляет своего любимца и на ступенях эшафота. Дантон, среди Конвента читает оду Грекура, тогда как ему произносят смертный приговор; Анахарсис Клоц проповедует атеизм на гильотине, окруженный отрубленными головами его сообщников. Редко великие злодеи перед смертью говорят языком праведника *(примеч. автора)*.

Которых мутные струи
Не серебрят, а пенят воды
На лоне илистой земли.

7

Они рвались, они бежали
К неверной цели без препон;
Но быстрый бег остановлен,
И мне размах холодной стали
Готовит праведный закон.

8

Взойдет она, взойдет, как прежде,
Заутра ранняя звезда,
Проснется неба красота,—
Но я, я небу и надежде
Скажу: «Простите навсегда!»

9

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;

10

Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен,
Где я страстями заклеймен,
Где чем-то свыше, поневоле
Я был на время заключен;

11

Где я... Но что?.. Толпа народа
Уже кипит на площадѝ...
Я слышу: «Узник, выходи!»
Готов — иду!.. Прости, природа!
Палач, на казнь меня веди!..

<1837>

ИЗ VIII ГЛАВЫ ИОАННА

(ГРЕШНИЦА)

И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья.
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья;
Скажи нам мнение свое!»

И на лукавое воззванье,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил!

И, наконец, сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить древний ваш закон;
Но где тот праведник, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»

И вновь писал он на земле!..
Тогда, с печатью поношенья
На обесславленном челе,
Сокрылись дети ухищренья —
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена!

И он с улыбкой благотворной
Сказал: «Покинь твою боязнь!
Где обвинитель твой упорный,
Кто осудил тебя на казнь?»

Она в ответ: «Никто, учитель!»
«Итак, и я твоей души
Не осужу,— сказал Спаситель,—
Иди в свой дом и не греши».

<1837>

ГРУСТЬ

На пиру у жизни шумной,
В царстве юной красоты
Рвал я с жадностью безумной
Благовонные цветы.
Много чувства, много жизни
Я роскошно потерял,
И душевной укоризны,
Может быть, не избежал.
Отчего ж не с сожаленьем,
Отчего — скажите мне,—
Но с невольным восхищеньем
Вспомнил я о старине?
Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной,
День и ночь, как дух упорный,
Всё мелькает предо мной?
Отчего, как в полдень ясный
Голубые небеса,
Мне таинственно прекрасны
Эти черные глаза?
Почему же голос сладкой,
Этот голос неземной,
Льется в душу мне украдкой
Гармонической волной?
Что тревожит дух унылый,
Манит к счастию меня?
Ах, не вспыхнет над могилой
Искра прежнего огня!
Отлетели заблуждений
Невозвратные рои —
И я мертв для наслаждений,
И угас я для любви!
Сердце ищет, сердце просит
После бури уголка;
Но мольбы его разносит
Безотрадная тоска!

<1837>

БЕЛАЯ НОЧЬ

Tout va au mieux...
Candide

I

Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!
Вдали, кругом, холодная, немая —
Везде одна равнина снеговая;
Везде один безбрежный океан,
Окованный зимою великан!
Всё ночь и блеск! Ни облака, ни тучи
Не пронесет по небу вихрь летучий,
Не потемнит воздушного стекла...
Природа спит, уныла и светла...
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

II

Великий град на берегах Неглинной,
Святая Русь под мантией старинной,
Москва — приют радушной доброты —
Тревогой дня утомлена и ты!
Покой и мир на улицах столицы;
Еще кой-где мелькают колесницы,
Во весь опор без жалости гоня,
Извозчик бьет кой-где еще коня;
На пустырях и крик и разговоры,
И между тем бессонные дозоры...
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

III

Зачем же ты, невинное дитя,
Так резво день минувший проведя
Между подруг примерно-благонравных,
Теперь одна, в мечтаньях своенравных

Проводишь ночь печально у окна?
Но что я? Нет! Ты, вижу, не одна:
Мне зоркий глаз, мне свет твоей лампады
Не изменят! Ах, ах, твои наряды
Упали с плеч! Дитя мое, Адель!..
Не духа ли влечешь ты на постель? [1]
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

IV

Увы! Увы! Бессонницей томимый,
Волнуемый тоской непостижимой,
Я потерял рассеянный мой ум:
То вижу блеск, то чудится мне шум,
Невнятные, прерывные стенанья
И страстные, горячие лобзанья!
Проказница, жестокая Адель!
Да кто же он, счастливый этот Лель?
Кто этот сильф? Свершилось! Нет отрады,
Потух огонь изменницы-лампады...
Чудесный вид! Волшебная краса!
Белы, как день, земля и небеса!

<1837>

ТОСКА

Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений,
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и мильонам творений.
Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой —
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;

---

[1] Почем знать, может быть, в самом деле это был дух, сильф, влетевший нечаянно или с невинным умыслом в покои милой девушки? *(примеч. автора).*

Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатленье,
Одно ненавистное — холод к земле
И горькое к жизни презренье.
Блестящее солнце в огнистых лучах
И неба роскошного своды
Теряют в то время сиянье в очах
Несчастного сына природы;
Тоска роковая, убийца-тоска
Над ним тяготеет, как мрамор могилы,
И губит холодная смерти рука
Души изнуренные силы.

Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души?
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком чистом поле,
Пышным цветом расцвести?
. . . .
. . . .

<1837>

(ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛОЗОВСКОМУ)

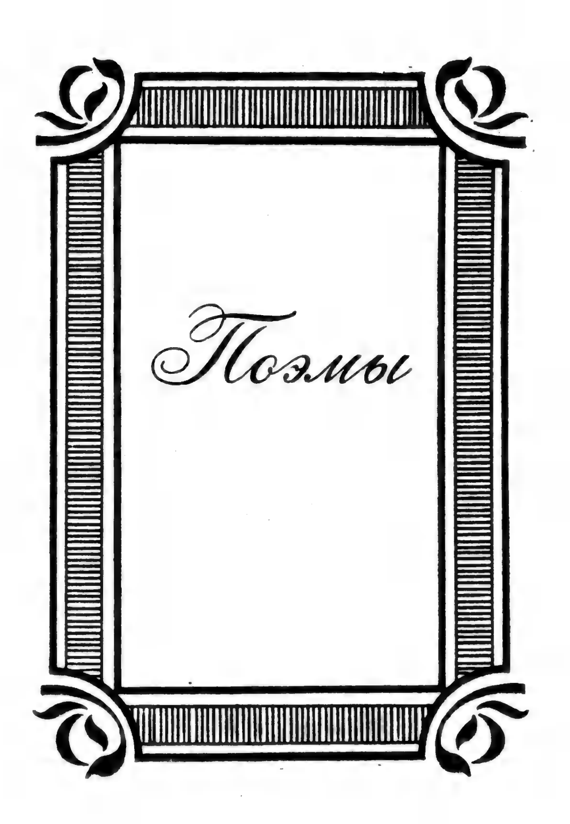
Вот тебе, Александр, живая картина моего настоящего положения:

. . . .
. . . .
. . . .
Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился с чахоткой,
И в ней, как кажется, сгнию!

Тяжелой мраморною плитой,
Со всей анафемскою свитой —
Удушьем, кашлем — как змея,
Впилась, проклятая, в меня;
Лежит на сердце, мучит, гложет
Поэта в мрачной тишине
И злым предчувствием тревожит
Его в бреду и в тяжком сне.
Ужель, ужель — он мыслит грустно —
Я подвиг жизни совершил
И юных дней фиал безвкусный,
Но долго памятный, разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл?
Тогда — вдали от глаз невежды
Или фанатика-глупца —
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца,
И счастлив был! Самозабвенье
Плодило лестные мечты
И светлых мыслей вдохновенье
Таилось в бездне пустоты.
С уничтожением рассудка,
В нелепом вихре бытия
Законов мозга и желудка
Не различал во мраке я.
Я спал душой изнеможенной,
Никто мне бед не предрекал,
И сам, как раб, ума лишенный,
Точил на грудь свою кинжал;
Потом проснулся... но уж поздно...
Заря по тучам разлилась —
Завеса будущности грозной
Передо мной разодралась...
И что ж? Чахотка роковая
В глаза мне пристально глядит,
И, бледный лик свой искажая,
Мне, слышу, хрипло говорит:
«Мой милый друг, бутыльным звоном
Ты звал давно меня к себе;
Итак, являюсь я с поклоном —

Дай уголок твоей рабе!
Мы заживем, поверь, не скучно:
Ты будешь кашлять и стонать,
А я всегда и безотлучно
Тебя готова утешать...»

<Декабрь 1837>


Поэмы



САШКА

К читателям

Не для славы —
Для забавы
  Я пишу!
Одобренья
И сужденья
  Не прошу!
Пусть кто хочет,
Тот хохочет,
  Я и рад;
А развратен,
Неприятен —
  Пусть бранят.
Кто ж иное
Здесь за злое
  Хочет принимать,
Кто разносит
И доносит,—
  Тот...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

— Мой дядя — человек сердитый,
И тьму я браней претерплю,
Но если говорить открыто —
Его немного я люблю!

Он — черт, когда разгорячится,
Дрожит, как пустится кричать,
Но жар в минуту охладится —
И тих мой дядюшка опять.
Зато какая же мне скука
Весь день при нем в гостиной быть,
Какая тягостная мука
Лишь о походах говорить.

II

Супруге строить комплименты,
Платочки с полу поднимать,
Хвалить ей шляпки ее, ленты,
Детей в колясочке катать,
Точить им сказочки да лясы,
Водить в саду в день раза три
И строить разные гримасы,
Бормóча: «Черт вас побери!» —
Так, растянувшись на телеге,
Студент московский размышлял,
Когда в ночном на ней побеге
Он к дяде в Питер поскакал.

III

Студенты всех земель и кра́ев!
Он ваш товарищ и мой друг;
Его фамилья *Полежаев*,
А дальше... эх, друзья, не вдруг!
Я парень и без вас болтливый,
Лишь только б вас не усыпить,
А то внимайте терпеливо:
Я рад весь век свой говорить!
Быть может, в Пензе городишка
Несноснее Саранска нет —
Под ним есть малое селишко,
И там мой друг увидел свет...

IV

Нельзя сказать, чтобы богато
Иль бедно жил его отец,

Но всё довольно таровато,
Чтоб промотаться наконец.
Но это прочь!.. Отцу быть можно
Таким, сяким и рассяким;
Нам говорить о сыне должно:
Посмотрим, вышел он каким.
Как быстро с гор весенни воды
В долины злачные текут,
Так пусть в рассказе нашем годы
Его младенчества пройдут.

V

Пропустим также, что родитель
Его до крайности любил,
И первый Сашеньки учитель
Лакей из дворни его был.
Пропустим, что сей ментор славный
Был и в французском Соломон,
И что дитя болтал исправно
Весь сквернословья лексикон.
Пропустим, что на балалайке
В шесть лет он «барыню» играл,
И что в похабствах, бабках, свайке
Он кучерам не уступал.

VI

Вот Саше десять лет пробило,
И начал папенька судить,
Что не весьма бы худо было
Его другому поучить.
Бич хлопнул! Тройка быстрых коней
В Москву и день и ночь летит,
И у француза в пансионе
Шалун за книгою сидит.
Я думаю, что всем известно,
Что значит модный пансион.
Итак, не многим будет лестно
Узнать, чему учился он.

VII

Должно быть, кой-чему учился
Иль выучил он на алтын,
Когда достойным учинился
Носить студента знатный чин!
О родины прямых студентов —
Гёттинген, Вильно и Оксфорд!
У вас не может брать патентов
Дурак, алтынник или скот;
У вас не может колокольный
Звонарь на лекции сидеть,
Вертеться в шляпе треугольной
И шпагу при бедре иметь.

VIII

У вас не вздумает мальчишка
Шипеть, надувшись: «Я студент!»
Вы судите: пусть он князишка,
Да в нем ума ни капли нет!
У вас студент есть муж почтенный,
А не паршивый, не сопляк,
Не полузнайка просвещенный
И не с червонцами дурак!
У вас таланты в уваженье,
А не поклоны в трех верстах;
У вас заслугам награжденье,
А не приветствиям в сенях!

IX

Не ректор духом вашим правит —
Природный ум вам кажет путь,
И он вам честь и чин доставит,
А не «нельзя ли как-нибудь!».
Но ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

X

Но что я?.. Где?.. Куда сокрылся
Вниманья нашего предмет?..
Ах, господа, как я забылся:
Я сам и русский и студент...
Но это прочь... Вот в вицмундире,
Держа в руках большой стакан,
Сидит с красотками в трактире
Какой-то черненький буян.
Веселье наглое играет
В его закатистых глазах,
И сквернословие летает
На пылких юноши устах...

XI

Кричит... Пунш плещет, брызжет пиво;
Графины, рюмки дребезжат!
И вкруг гуляки молчаливо
Рои трактирщиков стоят...
Махнул — и бубны зазвучали,
Как гром по тучам прокатил,
И крик цыганской «Черной шали»
Трактира своды огласил;
И дикий вопль и восклицанья
Согласны с пылкою душой,
И пал студент в очарованьи
На перси девы молодой.

XII

Кто ж сей во славе буйной зримый
Младой роскошный эпикур,
Царицей Пафоса любимый,
Средь нимф увенчанный Амур?
Друзья, никак не может статься,
Чтоб всякий вдруг не отгадал,
И мне пришлось бы извиняться,
Зачем я прежде не сказал.
Ах, миг счастливый, быстротечный
Волшебных юношества лет!

Блажен, кто в радости сердечной
Тебя сорвал, как вешний цвет.

XIII

Блажен, кто слез ручей горючий
Рукой Анюты утирал;
Блажен, кто жизни путь колючий
Вином отрадным поливал.
Пусть смотрит Гераклит унылый
С улыбкой жалкой на тебя,
Но ты блажен, о друг мой милый,
Забыв в веселье сам себя.
Отринем, свергнем с себя бремя
Старинных умственных цепей,
Что ныне гибельное время
Еще щадит до наших дней.

XIV

Хорош философ был Сенека,
Еще умней — Платон-мудрец;
Но через два или три века
Они, ей-ей, не образец.
И в тех и в новых шарлатанах
Лишь скарб нелепостей одних;
Да и весь свет наш на обманах
Или духовных, иль мирских.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

XV

Но полно, я заговорился,
А как мой Саша пировать
С. . . . . . в трактире научился,
Я и забыл вам рассказать.
Не знаю я, или природный
Умишка маленький в нем был,
Иль пансион учено-модный
Его лозами поселил;

Но лишь учась тому, другому,
Он кое-что перенимал
И, слов не тратя по-пустому,
Кой в чем довольно успевал:

XVI

Мог изъясняться по-французски
И по-немецки лепетать,
А что касается по-русски,
То даже рифмы стал кропать.
Хоть математике учиться
Охоты вовсе не имел,
Но поколоться, порубиться
С лихим гусаром не робел.
Он знал науки и другие,
Но это более любил...
Ну, ведь нельзя ж, друзья драгие,
Сказать, чтоб он невежда был!

XVII

Притом же, правду-матку молвить,
Умен — не то, что научен:
Иной куда гораздо молвит —
Переучен, а не умен!
По-моему, семинариста
Хоть разучи бог знает как,
Строка в строку евангелиста
Прочтет на память — а дурак.
Я для того здесь об ученых
И умных начал рассуждать,
Что мне не хочется об оных
И об науках толковать.

XVIII

Аминь, ни слова об науках...
Черты характера сего:
Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьею никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,

Но жажду вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах!

XIX

Он их терпеть не мог до смерти,
И в метафизику его
Ни мощи, ангелы, ни черти,
Ни обе книги — ничего
Ни так, ни эдак не входили,
И как ученый муж Платон
Его с Сократом ни учили,
Чтоб Иисусу верил он,
Он ничему тому не верит:
«Всё это — сказки»,— говорит,
Своим аршином бога мерит
И в церковь гроша не дарит.

XX

Я для того распространяюсь
О столь божественных вещах,
Что Сашу выказать ласкаюсь
Как голого, во всех частях;
Чтоб знали все его как должно,
С сторон хорошей и худой,
Да и, клянусь, ей-ей неложно
Он скажет сам, что он такой.
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Исусу,
Но, право, добрый молодец!

XXI

Вот всё, чему он научился,
Свидетель — университет!
Хотя б сам Рафаэль трудился —
Не лучше б снял с него портрет.

Теперь, какими же судьбами,
Меня вы спросите опять,
Сидит в трактире он с . . . .
Извольте слушать и молчать.
Рожденный пылким от природы,
Недолго был он средь оков:
Искал он буйственной свободы —
И стал свободен, был таков.

XXII

Как вихрь иль конь мылúстый в поле
Летит в свирепости своей,
Так в первый раз его на воле
Узрел я в пламени страстей.
Не вы — театры, маскерады,
Не дам московских лучший цвет,
Не петиметры, не наряды —
Кипящих дум его предмет.
Нет, не таких мой Саша правил:
Он не был отроду бонтон,
И не туда совсем направил
Полет орлиный, быстрый он.

XXIII

Туда, где шумное веселье,
В роях неистовых кипит,
Отколь все света принужденья
И скромность ложная бежит;
Туда, где Бахус полупьяный
Об руку с Момусом сидит,
И с сладострастною Дианой,
Разнежась, юноша шалит;
Туда, туда всегда стремились
Все мысли друга моего,
И Вакх и Момус веселились,
Приняв в товарищи его.

XXIV

В его пирах не проливались
Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай!

Но сильно, сильно разливались
Иль пунш, иль грозный сиволдай.
Ах, время, времячко лихое!
Тебя опять не наживу,
Когда, бывало, с Сашей двое
Вверх дном мы ставили Москву!
Пока я жив на свете буду,
В каких бы ни был я странах,
Нет, никогда не позабуду
О наших буйственных делах.

XXV

Деру «завесу темной нощи»
С прошедших, милых сердцу дней
И вижу: в Марьиной мы роще
Блистаем славою своей!
Фуражки, взоры и походка —
Всё дышит жизнью и поет;
Табак, ерофа, пиво, водка
Разит, и пышет, и несет...
Идем, волнуясь величаво,—
И все дорогу нам дают,
А девки влево и направо
От нас со трепетом бегут.

XXVI

Идем... и горе тебе, дерзкий,
Взглянувший искоса на нас!
«Молчать,— кричим, насупясь
зверски,—
Иль выбьем потроха как раз!»
Толпа . . . . . . иль дев стыдливых
Попалась в давке тесной нам,
Целуем, ... смазливых
И харкаем в глаза каргам.
Кричим, поем, танцуем, свищем;
Пусть дураки на нас глядят!
Нам всё равно: хвалы не ищем,
Пусть как угодно говорят!

XXVII

Но вот... темнее и темнее.
Народ разбрелся по домам.
«Извозчик!» — «Здесь, сударь!» —
«Живее,
Пошел на Сретенку к . . . . . .» —
«Но, но!» — И дрожки задрожали;
Летим Москвой, летим — и вот
К знакомым девкам прискакали,
Запор сломали у ворот.
Идем . . . . ругаясь,
Врастяжку банты на штанах,
И, боязливо извиняясь,
Нам светит . . . . в сенях.

XXVIII

«Мне Танька, а тебе Анюта»,—
Скосившись, Саша говорит.
Неоценимая минута,
Тебя никто не изъяснит!
Приап, Приап!.. . . . .
Тебя достойный фимиам
Твоими верными сынами
Теперь вскрутится к облакам!
О . . . . мизогины!
Вам слова два теперь скажу,
Какой божественной картины
Вам легкий абрис покажу!

XXIX

Растянута, полувоздушна
Калипсо юная лежит
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

XXX

Нет, нет! и абрис невозможно
Такой картины начертать.
Чтоб это чувствовать, то должно
Самим собою испытать.
Но вот под гибкими перстами
Поет гитара контроданс,
И по-козлиному меж нами
Прекрасный сочинился танц!
Возись! Пунш плещет, брызжет пиво,
Полштофы с рюмками летят,
А колокольчик несонливый
Уж бьет заутренний набат...

XXXI

Дым каждую туманил кровлю,
Ползли ерыги к кабакам,
Мохнатых полчища — на ловлю,
И шайки нищих там и сям.
Вот те, которые в бордели
Ночь в сне и пьянстве провели,
Покинув . . . . постели,
Домой в пуху и пятнах шли,
Прощайте ж, милые красотки!
Теперь нам нечего зевать!
Итак, допив остаток водки,
Пошли домой мы с Сашей спать.

XXXII

Ах, много, много мы шалили!
Быть может, пошалим опять;
И много, много старой были
Друзьям найдется рассказать
Во славу университета.
Как будто вижу я теперь
Осаду нашу комитета:
Вот Саша мой стучится в дверь...
«Кто наглый там шуметь изволит?» —
Оттуда голос закричал.—
«Увидит тот, кто дверь отворит»,—
Сердито Саша отвечал.

XXXIII

Сказав, как вихорь устремился —
И дверь низверглася с крючком,
И, заревевши, покатился
Лакей с железным фонарем.
Се ты, о Сомов незабвенный!
Твоею мощной пятерней
Гигант, в затылок пораженный,
Слетел по лестнице крутой!
Как лютый волк стремится Сашка
На девку бледную одну,
И распростерлася Дуняшка,
Облившись кровью, на полу.

XXXIV

Какое страшное смятенье,
И дикий вопль, и крик, и рев,
И стон, и жалкое моленье
Нещадно избиенных дев!
И вдруг огнями осветился
Пространный комитета двор,
И с кучерами появился
Свирепых буфелей дозор.
«Держи!» — повсюду крик раздался,
И быстро бросились на нас;
И бой ужасный завязался...
О грозный день, о лютый час!

XXXV

Капоты, шляпы и фуражки
С героев буйственных летят
И — что я зрю? О небо! Сашке
Веревкой руки уж крутят!..
«Mon cher! — кричит он, задыхаясь.—
Сюда! Здесь всех не перебью!»
Народ же, больше собираясь,
На жертву кинулся свою.
Ах, Сашка! Что с тобою будет?
Тебя в рогатку закуют,
И рой друзей тебя забудет...
Нет, нет! Уж Калайдович тут!

XXXVI

Он тут! И нет тебе злодея!
Твою веревку он сорвал
И, как медведь, всё свирепея,
Во прах всех буфелей поклал.
Одной своей телячьей шапки
Уже вовек ты не узришь;
А сам, безвреден после схватки,
Опять за пуншем ты сидишь;
Пируй теперь, мой Жданов милый,
Твоя обида отмщена,
И проясни свой лик унылый
Стаканом пенного вина.

XXXVII

И ты, мой друг в тогдашни годы,
Теперь — подлец и негодяй,
Настрой-ка, Пузин, брат, аккорды,
Возьми гитару и взыграй.
Взыграй чувствительнее барда.
Каврайский! Вот сивуха — пей!
Прочь, прочь, Надеждин, от бильярда;
Коль проиграл, так не робей!
А ты, наш чайный разливатель,
О Кушенский, не отходи,
И, как порядка наблюдатель,
За пиром радостным гляди!

XXXVIII

Засядем дружеским собором
За стол, уставленный вином,
И звучным, громогласным хором
Лихую песню запоем...
Летите, грусти и печали,

. . . .

Давно, давно мы не бывали
В таком божественном кругу!
Скачите . . . . . припевая:
Виват наш Саша удалец!
А я, главу сию кончая,
Скажу: ей-богу, молодец!

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Чуть освещаемый луною,
Дремал в тумане Петербург,
Когда с уныньем и тоскою
Узрел верхи его мой друг.
На облучке, спустивши ноги,
В забытьи жалком он сидел
И об оконченной дороге
В сердечной думе сожалел.
Стакан последний сиволдая
Перед заставой осушил,
И, из телеги вылезая,
Он молчалив и страшен был.

II

Нева широкая струилась
Близ постоялого двора,
И недалеко серебрилось
Изображение Петра.
Всё было тихо; не спокойно
В душе лишь Саши моего,
И не смыкалися невольно
Глаза померкшие его,
Недавно буйного студента.
С дымящимся от трубки ртом,
Он, прислонясь у монумента,
Стоял с потупленным челом.

III

«Увы, увы!.. часы веселья,
Вы пролетели, будто сон!»
Так в петербургском новоселье,
Вздохнувши тяжко, молвил он:
«Быть может, долго, молодые
Красотки, мне вас не видать!..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

IV

Прощайте, звонкие стаканы,
И пунш, и мощный ерофей!
Быть может, други мои пьяны
Теперь пируют у . . . . . .
И сны приятные осенят
Глаза, сомкнутые вином,
И яркие лучи осветят
Их, упоенных крепким сном!
А я?.. Увы, увы, несчастный,
Я б проклял восходящий день!..»
Умолк... и луч денницы ясной
Рассеивал ночную тень.

V

Эх, Сашка! Как тебе не стыдно,
Сробел, лихая голова!
Ей-богу, слышать нам обидно
Такие вздорные слова.
Когда ты был такою бабой?
Когда так трусил и тужил?
Как мальчик глупенький и слабый
При виде розог приуныл.
Что ты в Москве накуролесил
И гол остался, как сокол,
И, как сова, ты нос повесил...
Пошел, брат, к дядюшке, пошел!..

VI

И что ж, друзья?.. Ведь справедливо
Он дядю чертом называл:
Ведь как же он красноречиво
Его сначала отщелкал!
Такую задал передрягу,
Такую песенку отпел,
Так отприветствовал бродягу,
Что тот лишь слушал да потел;
Потом всё тише да смирнее,
Потом не стал уж и кричать,
Потом всё ласковей, добрее,
Потом и Сашей начал звать.

VII

А Сашка тут и распустился,
И чувствует, что виноват,
Раскаялся — и прослезился.
А дядя?.. Боже мой, как рад!
Повесу грязного обмыли,
Сейчас белья ему, сапог,
И с головы принарядили,
Как лучше быть нельзя, до ног.
Повеселиться там нисколько,
Никак не думав, не гадав,
Пирует Сашка мой и только!
Опять в кругу своих забав.

VIII

Где вид московского гуляки?
Куда девался пухлый лик?
В англо-кургузом модном фраке,
В отличной шляпе эластик,
В красивом бархатном жилете
Мой Сашка тот же, да не тот.
И вот, сбоченясь, на проспекте
С фигурой важною идет.
Червонец светлый, драгоценный
И на театры в первый ряд
Билет на кресла ежедневный
В кармане брюк его лежат!

IX

С какою миною кичливой
На прочих франтов он глядит,
Какой улыбкою спесивой
И дам и барышень дарит!
С какой приятностью играет
И машет хлыстиком своим,
И как искусно задевает
Под ножки девушкам он им;
Какой бонтон в осанке, взорах,
Какую важность возымел!
Но вот на ухарских рессорах
В театр, разлегшись, полетел.

X

Вошел. С небрежностью лакею
Билет, сморкаясь, показал
И, изогнувши важно шею,
Глазами ложи пробежал.
Взгремела Фрейшица музы́ка;
Гром плесков залу огласил,
И всяк от мала до велика
И упоен и тронут был.
Что ж Саша? С видом пресыщенья
Разлегшись в креслах, он сидел,
И лишь с улыбкой сожаленья
В четыре стороны глядел.

XI

Напрасно fora все кричали;
Он свой выдерживал bonton,
И в самом действия начале
Спокойно пунш пить вышел он;
Напрасно, милая Дюрова,
Твой голос всех обворожал:
Он не расслышал ни полслова,
Но только . . . . . увидал;
Напрасно, Антонин воздушный,
Ты резал воздух, как зефир:
Для тону Саше будет скучно,
Хотя б растешил ты весь мир.

XII

Да и нельзя же в самом деле...
Смотрите, он в каком кругу!
Народ не тот здесь, что в бордели,
Всё видишь ленту иль звезду!
И, шутки в сторону откинуть,—
С ним рядом первая ведь знать;
Итак, пристойно ль рот разинуть,
Степного Фоку тут играть?
Так, раз и твердо рассудивши,
Всегда мой Сашка поступал
И всякий раз, в театре бывши,
Роль полусонного играл.

XIII

Но как же был зато он скромен
Во всех поступках и словах,
И полутихо-нежно-томен
При зорких дяденьки глазах,
С каким терпеньем и почтеньем
Его он слушал по часам,
С каким, о смех! благоговеньем
Ходил с ним вместе по церквам;
По Летнему ль гуляет саду —
Не свищет песенки, небойсь,
Хоть будь красотка — ни полвзгляду
Не кинет прямо и ни вкось.

XIV

С какою пылкостью восторга
Хвалил он дядины мечты,
Доказывал премудрость бога,
Вникал в природы красоты,
С каким он жаром удивлялся
Наполеонову уму,
И как делами восхищался
Моро, и Нея, и Даву;
Ругал всех русских без разбора
И в Эрмитаже от картин
Не отводил ни рта, ни взора.
О, плут! о, шельма, сукин сын!

XV

И потакал, и лицемерил,
И льстил бессовестно, и врал!
А честный дядя всему верил
И шельме денежки давал...
Бывало, только он с Мильонной,
А дядя: «Где, дружочек, был?»
А он (куда какой проворный!):
«Я-с по бульвару всё ходил,
Потом спуск видел парохода,
Да Зимний осмотрел дворец.
Какая ж тихая погода!» —
Ах ты . . . . подлец!

XVI

Ах ты, проклятая ерыга,
Ведь что мошенник не соврет!
А хоть ругай — мой забулдыга
Живет да песенки поет...
Звенит целковыми-рублями,
Летает франтиком в садах,
Пирует, нежится с . . . . . .
И сушит водку в погребах.
Ну, что ты делать с ним прикажешь?
Не хочет слышать уж про нас...
Эй, Сашка! или не покажешь
В Москву своих спесивых глаз?

XVII

Постой! не вечно, брат, рейнвейны
В Café de France ты будешь пить,
И шейки обвивать лилейны,
И в шляпе эластик ходить!
Постой! не вечно Петербурга
Красоток будешь целовать,
Опять любезнейшего друга
В Москву представят к нам, опять!
Гуляй, пируй, пока возможно,
Крути, помадь свой хохолок,
Минуты упускать не должно,
Играй, сбоченясь à la coq!

XVIII

Не выпускай из рук стакана,
От Каратыгина зевай
И в ресторации с дивана,
Дымясь в вакштафе, не вставай;
Катайся в лодочках узорных,
Лови, обманывай жидов
И мчись на рысаках проворных
До поздних полночи часов...
. . . .
А дядя мыслит кое-что:
И в дилижансе две недели
Тебе уж место нанято.

XIX

Различноцветными огнями
Горит в Москве Кремлевский сад,
И пышнопестрыми роями
В нем дамы с франтами кишат.
Музы́ка шумная играет
На флейтах, бубнах и трубах,
И гул шумящий завывает
Кремля высокого в стенах.
Какие радостные лица,
Какой веселый, милый мир!
Все обитатели столицы
Сошлись на общий будто пир.

XX

Какое множество букетов,
Индийских шалей и чепцов,
Плащей, тюрбанов и лорнетов,
Подзорных трубок и очков;
И смесь роскошная в нарядах,
И лиц различные черты,
И выражения во взглядах
И плутовства, и простоты,
И ловкости, и неуклюжства,
И на глазах почтенных дам:
И надоевшее замужство,
И склонность к модным шалунам.

XXI

Как из-под шляпки сей игриво
Глазок прищуренный глядит;
Что для мужчин она учтива,
Он очень ясно говорит.
На грудь лилейную другая,
Власы небрежно разметав
И всех прельстить собой желая,
Нарочно гордый кажет прав;
Другая с нежностью лилеи,
Иная томно так идет,
Но подойди к ней не робея —
Она и ручку подает.

XXII

Всё живо и разнообразно,
Всё может мысли породить!
Там в пух разряженный приказный
Напрасно ловким хочет быть;
Здесь купчик, тросточкой играя,
Как царь, доволен сам собой;
Там, с генералом в ряд шагая,
Себя тут кажет и портной,
Вельможа, повар и сапожник,
И честный, и подлец, и плут,
Купец, и блинник, и пирожник —
Все трутся и друг друга жмут.

XXIII

Но что? Не призрак ли мне ложный
Глаза внезапно ослепил?
Что вижу я? Ужель возможно,
Чтоб это Сашка мой ходил?..
Его ухватки и движенья,
Его осанка, взор и вид...
Какие странные сомненья...
И дух и кровь во мне кипит...
Иду к нему... трясутся ноги...
Все ближе милые черты...
Дрожу, страшусь... колеблюсь... боги!
О друг любезный, это ты?..

XXIV

Нет, я завесу опускаю
На нашу радость и восторг,
Такой минуты, сколько знаю,
Никто нам выразить не мог.
Друзьям же верным и открытым
И всем желающим узнать,
Умам чрез меру любопытным
Довольно, кажется, сказать,
Что, раз пятнадцать с ним обнявшись
И оросив слезами грудь,
И раз пятнадцать целовавшись,
В трактир направили мы путь.

XXV

Не вспомнишь все, что мы болтали,
Но все, что он мне рассказал,
Вы перед этим прочитали,
И я ни капли не соврал.
Одно лишь только он прибавил,
Что дядя в университет
Его еще на год отправил
И что довольно с ним монет.
«Сюда . . . .!» — гремящим
Своим он гласом возопил,
И пуншем нектарным, кипящим
В минуту стол обрызган был.

XXVI

Ты видел, Поль, когда на дрожках
К тебе он быстро подлетел;
В то время с книгой у окошка,
Дымясь в вакштафе, ты сидел.
Ты помнишь, о Каврайский славный,
Студентов честь и красота,
Какой ты встречею забавной
Его порадовал тогда:
В . . . . мертвецки пьяным
Тебя он в нумере застал
. . . .
. . . .

XXVII

Ты зрел, любезный мой Костюшка,
Его как стельку самого,
И снова, толстенькая Грушка,
Ты страстно нежила его.
Виват, трактиры и бордели,
Пожива будет еще вам,
И кабаки не опустели,
Когда приехал Сашка к нам.
В веселье буйственном с друзьями
Еще за пуншем он сидел,
А разноцветными огнями
Кой-где Кремлевский сад горел...

Эпилог

Друзья, вот несколько деяний
Из жизни Сашки моего...
Быть может, град ругательств, брани,
Как дождь, посыплет на него.
И на меня, как корифея
Его распутства и бесчинств,
Нагрянет, злобой пламенея,
Какой-нибудь семинарист...
Но я их столько презираю,
Что даже слушать не хочу,
И что про Сашку вновь узнаю —
Ей-ей, ни в чем не умолчу.

1825

ЧУДАК

Доро́гой в град первопрестольный,
Часа в четыре поутру,
Игрой судьбины самовольной
К ямскому сонному двору
Примчались быстро друг за другом
Две тройки и карета цугом.
Улан-красавец и корнет,
Мужчина в фраке, средних лет,
И барышня свежее розы,
С служанкой сивой, как морозы,
Выходят — входят, и гей-гей!
Давайте чаю поскорей!
Читатель, верно, вам знакомы
Неугомонные содомы
Неугомонных ямщиков?
Итак, оставя кучеров
И слуг вертеться возле сена
И воевать за рубль промена,
Посмотрим лучше на свою
Разнообразную семью.
Облокотяся нерадиво
На стол, девица молчаливо
Сидит за чайником своим;

Улан, с искусством щегольским
Играя перстнем и часами,
В карман не лезет за словами
И, как учтивый кавалер,
Желает знать все; например:
Кто такова она? откуда?
Как имя ей? Мими, Земруда,
Или подобное тому?
Находит в ней достоинств тьму,
Обворожен ее румянцем,
Дивится вслух прелестным пальцам,
А втайне — ножке; да притом
Он мыслит также о другом.
Невольно барышня краснеет;
Но он нимало не робеет,
Осаду правильно ведет
И смело в чашку рому льет...
Другая резкая картина:
Во фраке средних лет мужчина,
Качая важно головой,
Как будто занятый большой
Алгебраической поверкой,
С полуоткрытой табакеркой
И весь засыпан табаком,
Ходил задумчиво кругом.
Вдруг, скуча долгим размышленьем,
Подходит к барышне с почтеньем
И предлагает ей... чего? —
Понюхать... Барышня его
Глазами мерит с удивленьем
И отвечает с наклоненьем:
«Покорно вас благодарю —
Не нюхаю и не курю».
В ответ ни слова, хладнокровно
Отходит прочь сопутник скромный;
Минуты две спустя потом
Вновь угощает табаком:
«Прошу понюхать!» — «Я сказала,—
Смутясь, девица отвечала,—
Что я не нюхаю». Улан,
Поставя выпитый стакан,
Взглянул, скосясь, на господина;
Но беззаботливая мина

В широком фраке чудака
Смягчила гнев его слегка.
Пунш снова налит; все как прежде.
Но непонятному невежде
Неймется,— барышне опять
Идет табак свой предлагать:
«Прошу понюхать!» — Градом слезы
Кропят ланит прелестных розы.
«Что вам угодно от меня? —
Вскричала жалостно она.—
Подите дальше, ради бога!» —
«Опять, уж это слишком много! —
Вскричал значительно улан.—
Вы наглы, сударь, вы буян!
Прошу разделаться с корнетом
За наглость даме пистолетом».—
«Зачем не так: я очень рад».
Готовы пули. Идут в сад.
Курки на взводах — бац! С корнета
Летит долой пол-эполета;
Соперник жив, без картуза.
Глядят, разиня рот, в глаза
Друг другу храбрые герои;
Потом сближаются — и двое
Вдруг составляют одного!
Ура! — и больше ничего...
На стол являются бутылки.
Улан, в движеньях гнева пылкий,
Был в дружбе так же щекотлив:
В карманной книжке начертив
Свой полный адрес в память другу,
Пожал ему усердно руку,
Два раза в лоб поцеловал
И в ближний город поскакал.
А барышня? О други, прежде,
Пока забавному невежде
Защитник скромности — корнет —
Дал в руку смертный пистолет,
Она, с досады и испуга,
Не дождалась другого цуга
И кое-как на четверне
С двора сверкнула в тишине.
А наш чудак с серьезной маской

Теперь один в кибитке тряской
Летит дорогой столбовой —
На встречи новые и бой.
И точно: вдруг в глуши крапивной
Он слышит стон и вопль разрывный,
И колокольчик в стороне.
Кинжал и сабля на ремне,
Ружье с картечью у лакея,—
Чего бояться? Не робея,
Летит крапивою на стон —
И что ж, кого встречает он?
Два мужика... один с дубиной,
С звероподобной образиной,
За вожжи держит лошадей
Несчастной барышни моей;
А кучер с старою служанкой
Лежат бездушною вязанкой,
Опутаны без рук и ног
Веревкой вдоль и поперек...
«О боже! стой!» — вскричал он внятно;
Вооруженный сбруей ратной,
Спешит к красавице. Кинжал
С ружьем и саблей заблистал.
Злодеи в бегство. «Вы свободны!» —
Гласит ей витязь благородный.
Пошло все прежним чередом,
И он — в карете с ней вдвоем
Как друг и ангел-хранитель.
«Чем заплачу вам, мой спаситель?» —
Твердит девица чудаку.
«Прошу понюхать табаку!»
А после? Что болтать пустое?
Они в Москву явились двое,
Смеялись, думали; потом
Накрыл священник их венцом;
Потом все горе позабыли,
Гуляли, спали, ели, пили —
И, приучившись к чудаку,
Она привыкла к табаку.

<1825—1826>

ЭРПЕЛИ

(ВОИНАМ КАВКАЗА)

Глава I

Едва под Грозною[1] возник
Эфирный город из палаток
И раздался приветный крик
Учтивых егерских солдаток:
«Вот булки, булки, господа!»
И, чистя ружья на просторе,
Богатыри, забывши горе,
К ним набежали, как вода;
Едва иные на форштадте
Найти успели земляков
И за беседою о свате
Иль о семействе кумовьев,
В сердечном русском восхищенье
И обоюдном поздравленье
Вкусили счастие сполна
За квартой красного вина;
Едва зацарствовала дружба,—
Как вдруг, о тягостная служба!
Приказ по лагерю идет:
Сейчас готовиться в поход.
Как вражья пуля, пролетела
Сия убийственная весть,
И с ленью сильно зашумела
На миг воинственная честь.
«Увы! — твердила лень солдатам,—
И отдохнуть вам не дано;
Вам, точно грешникам проклятым,
Всегда быть в муке суждено!
Давно ль явились из похода —
И снова, батюшки, в поход!
Начальство только для народа
Смышляет труд да перевод.
Пожить бы вам, хотя немного,
Под Грозной крепостью, друзья!
Нет, нет у Розена ни бога,
Ни милосердья, ни меня!

[1] Крепость *(примеч. автора)*.

Пойдете вы шататься в горы;
Чеченцы — бестии и воры —
Уморят вас без сухарей;
Спросите здешних егерей!..» —
«Молчать, негодная разиня! —
В ответ презрительно ей честь.—
Я — сердца русского богиня
И подавлю пятою лесть.
Ужель вы, братцы, из отчизны
Сюда спешили для того,
Чтоб после слышать укоризны
От сослуживца своего:
«Они-де там не воевали,
А только спали на печи,
В станицах с девками играли,
Да в селах ели калачи!»
(Не воевали мы, бесспорно,—
Есть время спать и воевать.)
Вам был знаком лишь ветер горный,
Теперь пора и горы знать;
Вы целый год здесь ели дули,
Арбузы, тёрн и виноград;
Теперь — прошу — отведай пули,
Кто духом истинный солдат!
Винить начальство грех и глупо:
Оно, ей-ей, умнее нас,
И без причины вместо супа
В котлы не льет гусиный квас.
Идите в горы, будьте рады,
Пора патроны расстрелять,
За храбрость лестные награды
Сочтут за долг вам воздавать;
А егерям прошу не верить,
Хоть лень сослалась на их гурт;
Они привыкли землемерить
Одну дорогу в Старый Юрт» [1].
Так честь солдатам говорила,
Паря над лагерем полка,
И лень печально и уныло

[1] Старый Юрт — маленькая крепость в восемнадцати верстах от Грозной. Возле самой крепости протекают между гор ручьи горячих минеральных вод *(примеч. автора)*.

Ушла, вздохнув издалека.
Внезапно ожили солдаты;
Везде твердят: «В поход, в поход!»
Готовы. «Здравствуйте, ребята!» —
«Желаем здравия!» — И вот
Выходят роты. Солнце блещет
На грани ружей и штыков;
Крест на́-грудь — и как море плещет
В рядах походный гул шагов.
Вот Розен!.. Как глава от тела,
Он от дружин не отделен;
Его присутствием несмелый
Казак и воин оживлен!
Его сребристые седины
Приятны старым усачам:
Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они под русскими орлами
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны,
Или, к бессмертью на пути,
Могилу славную найти,
Для вечной и бессмертной тризны!
Так прежде сам он был знаком
Седым служителям Беллоны;
Свои надежды, обороны
Они вторично видят в нем.
И полк устроенной громадой
По полю чистому валит,
И ветер свежею отрадой
Здоровых путников дарит.
Всё живо: здесь неугомонный
Гремит по воле барабан;
Там хоры песни монотонной
«Пал на сине море туман!»
Здесь «Здравствуй, милая», с скачками
Передового плясуна;
Веселый смех между рядами
И без запрету тишина.

Глубокомыслящие Канты
И на черкесских жеребцах,
В доспехах горских адъютанты,
Крутя столбом летучий прах,
Сверкают, вьются пред глазами.
День вечереет; за горой
С полублестящими лучами
Исчез бог света золотой.
Луна серебряной лампадой
Виднеет в небе голубом;
Заря вечерняя прохладой
Приятно веет над полком.
Вперед, вперед! — еще немного —
Близка до станции дорога!
Вот ручеек горячих вод...
Отбой!.. Окончен переход!..

Глава II

Кто любит дикие картины
В их первобытной наготе,
Ручьи, леса, холмы, долины
В нагой природы красоте;
Кого пленяет дух свободы,
В Европе вышедшей из моды
Назад тому немного лет,—
Того прошу, когда угодно,
Оставить университет
И в амуниции походной
Идти за мной тихонько вслед.
Я покажу ему на свете
Таких вещей оригинал,
Которых, верно, в кабинете
Он на ландкартах не видал,
А, шедши фронтом, на походе
Увидит их по сторонам,
Как у себя на огороде
Чеснок и редьку по грядам.
Я покажу ему с улыбкой
На степи верст по пятисот,
На коих изредка ошибкой
Ковыль с мордвинником растет,

И, расстилаясь в день румяный,
Цветник сей длинной полосой
Блестит, как океан багряный,
Своей колючею красой.
Я покажу ему титана,
Который сед и стар, как бес,
В огромной области тумана
Всегда в войне против небес.
Из ребр его окаменелых,
Мильоном волн оледенелых,
Шумят и летом и зимой
Ручьи с свирепой быстротой.
Напрасно жар полдневный пышет,
Сразясь с тройным его венком,
Сердит и пасмурен, он дышит
Одними вьюгами и льдом.
Кругом, от моря и до моря,
Хребты гранита и снегов,
Как Эльборус, с природой споря,
Стоят от бытности веков;
И неприступная сияет
Из облаков их высота;
Туда лишь дерзкая мечта
С царем пернатых долетает.
Потом, направивши слегка
Полет и взору и надежде,
Я б показал тому невежде
Крутые горы из песка,
Которых около Валдая,
Раз десять в Питер проезжая,
Заметить, верно, он не мог.
А что за вид! Какой песок!
Куда ваш славный воробьевский!..
Какой-нибудь писец московский
Не только б в Думе пожалел
Засыпать им свой бред плутовский,
Но, право б, горсть тихонько съел!
Потом, пришедши с ним на берег,
Я б показал ему Сулак,
Лихую Сунжу или Терек;
Не утерпел бы он никак,
Чтобы не вскрикнуть: что такое,

Вода иль грязные помои?[1]
В ответ: «Помилуйте, вода,—
Сказал бы я ему невинно,—
Попробуйте, она чиста,
Как в Яузе или Неглинной!»
Потом любезному дружку
Я показал бы лес фруктовый,
В котором с девушкой суровой
Сойтись опасно пастушку,
Затем, что слишком мал в округе:
Верст десять только есть к услуге,
Да и довольно некрасив:
Из грушей, персиков и слив!
Спросил бы я его учтиво:
Давно ль он прибыл из столиц?
Едят ли там в июне сливы
Без покровительства теплиц?
На все вопросы таковые,
Глазища выпуча большие,
Стоял бы он передо мной,
Как сивка-бурка пред Бовой
Или как лист перед травой;
А я, в досужный час, от скуки,
В Костеках или Ташкичу́
Его ударя по плечу
И взявши дружески за руки,
Зашел бы с ним за буерак
И, севши рядом, начал так:
«Мой милый! Очень натурально
Вам всем, столичным петушкам,
Из залы вышед танцевальной,
Дивиться здешним чудесам.
Вам всё здесь ново, всё забавно,
Я очень верю, потому
Что я и сам еще недавно
Облекся в ратную суму.
И я, мой друг, в былые годы
Ходил во фраках, да каких! —
Последней, самой лучшей моды,
Короткофалдых, обрезных!
Штаны на мне, я помню живо,

[1] Все реки на Кавказе чрезвычайно быстры и мутны *(примеч. автора)*.

Любил носить я широко
Из казимира и трико,
Внизу с чешуйкою красивой.
А сапоги — ты, верно, знал
Все магазейны по бульвару —
Мне немец Хейн всегда шивал
По тридцати рублей за пару,
На вес пять-шесть золотников.
Вот был недавно я каков!
Так обратимся мы к предмету:
Я думал так же, как и ты,
Готов был целый век по свету
Искать чудес и красоты
В природе мудрой и премудрой,
Как нам твердит ученый хор,
И восхищался до тех пор,
Пока, мне кажется, за вздор
Меня распудрили не пудрой,
Как, может, ты предполагал.
. . . .
. . . . и что же?
Прошу пройтиться на Кавказ!..
С какою, думаешь ты, рожей
Узнал заслуженный приказ?
Не восхищался ли, как прежде,
Одним названием Кавказ?
Не дал ли крылышек надежде
За чертовщиною лететь,
Как то: черкешенок смотреть,
Пленяться день и ночь горами,
О коих с многими глупцами
По географии я знал,
Эльбрусом, борзыми конями,
Которых Пушкин описал,
И прочая... Ах, нет, мой милый!
Я вспомнил то, кем прежде был,
Во что господь преобразил,—
И с миной кислой и унылой
И нос и уши опустил!
Пришед сюда, я взором диким
Окинул всё, что прежде мне
Казалось чудным и великим,—
И всем скучал наедине,

В шуму пиров и тишине!
Вот эти дивные картины:
Каскады, горы и стремнины...
С окаменелою душой,
Убитый горестною долей,
На них смотрю я поневоле,
И верь мне: вижу из всего
Уродство — больше ничего!
Быть может, друг мой (почему же
Не быть подобному с тобой?),
Поссорясь ветрено с судьбой,
Ты сам наденешь фрак поуже
Или две капли так, как мой;
Тогда судить умнее станешь,
Навек поклонишься мечтам —
И удивляться перестанешь
Кавказа вздорным чудесам.

Глава III

Меж тем уходит день за днем
Неизменяемым порядком;
Жары над странственным полком
Сменяет ночь в молчаньи кратком;
За переходом переход:
Степьми, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно, без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль в воду?
Им всё равно: они идут,
В ладьях по Тереку плывут,
По быстрой Сунже ищут броду;
Разносит ветер вдоль реки
С толпами ратных челноки;
Бросает Сунжа вверх ногами
Героев с храбрыми сердцами [1].
Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут — и живы, слава богу!

---

[1] Сунжа в самых мелких местах так быстра, что невозможно сильному человеку ступить шагу, не подавшись в сторону. Большая часть солдат переходила ее, держась между собой за руки, а некоторые падали с ружьями *(примеч. автора)*.

Друзья, поверьте, это быль!
Я сам, что делать, понемногу
Узнал походную тревогу,
И кто что хочет говори,
А я, как демон безобразный,
В поту, усталый и в пыли
Мочил нередко сухари
В воде болотистой и грязной
И, помолившися потом,
На камне спал покойным сном!..
А вы, бифштексы и котлеты,
Домашних кухней суета,
Какие лестные приветы
Я вам выдумывал тогда!
С каким живым воспоминаньем,
С каким чудесным обоняньем
Перед собой воображал!
Я вас не резавши глотал,
Без огурцов и кресс-салата...
А на поверку, наконец,
Увы, хоть съел бы огурец,
Да нет их в ранце у солдата!
. . . .
. . . .
Уже осталося за нами
Довольно русских крепостей,
В которых рядом с кунаками
Живут семейства егерей,
Или, скажу яснее, роты
Линейной егерской пехоты
Из сорок третьего полка.
Уж наши воины слегка
Болтать учились по-чеченски,
Как встарь учились по-немецки,
И восхищались от души
(Таков обычай русской рати),
Когда случалося им кстати
Сказать «яман» или «якши».
Уже тарутинцы успели
Подробно нашим рассказать,
Притом прибавить и прилгать,
Как в Турции они терпели
От пуль, и ядер, и чумы,

Как воевали под Аджаром,
И, быль украшивая с жаром,
Пленяли пылкие умы,
Всегда лежавшие на печке...
Мы, в разговоре деловом
Прошедши вброд еще две речки,
К Внезапной крепости тишком
Пришли внезапно вечерком...
Вот здесь и точка с запятою...
Я должен тон переменить
И, как поэт отважный, вдвое
Серьезней дело пояснить.
Итак, принявши тон серьезный,
Скажу вам так: когда из Грозной
Пошли мы, грешные, в поход,
То и не думали, не знали,
Куда судьба нас заведет.
Иные с клятвой утверждали,
Что мы идем на смертный бой
В аул чеченский, не мирно́й;
Другие, впятеро умнее
И на сужденье поскромнее,
Шептали всем, понизя тон,
Что наш второй баталион
Был за Андреевской нещадно
Толпою горцев окружен.
Все пели складно, да не ладно;
Один поход мог доказать,
Как хорошо умеют врать.
Замечу здесь: все офицеры,
Конечно, знали наперед
Вернее, нежель мушкатеры,
Куда судьба их заведет;
Но знали так, как думать должно,
Не для других, а для себя;
Итак, рассказов не любя,
Хранили тайну осторожно.
Теперь, к Внезапной подходя,
Засуетились все безбожно:
«Да где ж второй наш батальон?
Ведь, говорят, в осаде он».—
«Э, вздор, налгали об осаде:
Он здесь с бутырцами стоит;

Смотрите, ежели в параде
Он нас принять не поспешит».—
«Да, если здесь, то, верно, выйдет».
Идет наш первый батальон —
И что же? Место только видит,
Где был второй... «Да где же он?»—
Один другого вопрошает;
А тот в ответ ему: «Бог знает!»
Меж тем и спать уже пора...
Как раз раскинули палатки
И разрешение загадки
Все отложили до утра.

Глава IV

Вали[1] бессменный Дагестана
И русской службы генерал,
В Тарках, без трона и дивана,
Сидел владетельный шамхал.
Ему подвластные могоги
В папахах[2], с трубками в руках,
Сложив крестом смиренно ноги,
Сидели также на коврах,
Как одурелые французы
От русской пули и штыков.
Они внутри своих лесов
Покойно сеяли арбузы,
Пшеницу, просо и саман[3],
В душе, быть может, персиян
И турок нам предпочитали,
Но между тем, боясь плетей,
Без отговорок и затей,
Уставы наши принимали,
Склонясь покорною главой
Перед десницей громовой.
Враги порядка и покоя,
Они, подчас от злобы воя,
Точили шашки на кремнях;
Но грохот пушки на горах,
Вослед словесных увещаний,

[1] Один из титулов шамхала *(примеч. автора)*.
[2] Персидская шапка *(примеч. автора)*.
[3] Персидский табак *(примеч. автора)*.

Всегда и быстро укрощал
Тревоги буйственных собраний
И мир в аулах водворял.
Так их смирял Ермолов славный,
Так на равнинах Эрпели́
Они позор свой погребли,
Вступивши с Граббе в бой неравный.
С тех пор устроенной толпой,
Смиряя пыл мятежной страсти,
Они под кровом русской власти
Узнали счастье и покой.
Последний луч надежды темной
Бросал в разбойничий аул
Глава Востока — Истамбул,
Но, сокрушив кумир огромный
И льва тавризского связав,
С брегов Аракса до Кубани,
Могучий росс, питомец брани,
Лишил злодеев тщатных прав.
Закоренелые невежды,
От Черных гор до снеговых,
С потерей слабой их надежды
Вписались все в число мирны́х.
Какой-нибудь Самсон презренный
Или преступный Каплунов [1],
Спасаясь казни заслуженной,
Тревожат мир ночных воров
И потаенными стезями
С мирны́ми, добрыми друзьями
Из гор являются врасплох
Перед стадами земляков.
Но правосудный меч в размахе
Висит на нити роковой,
И рано ль, поздно ль головой
В оцепенении и страхе,
Злодеи дань позорной плахе
Заплатят жалкой чередой.
Итак, кавказские герои
В косматых шапках и плащах,

---

[1] Беглые русские солдаты, проживающие у горских разбойников, известные своею отважностью и ненавистью к соотечественникам *(примеч. автора)*.

Оставя нехотя в горах
Набеги, кражи и разбои,
Свою насильственную лень
Трудом домашним заменили,
И кукурузу и ячмень
С успехом чудным разводили.
Как вдруг в один погодный день,
На зло внезапное и горе,
Из моря или из-за моря,
О том безмолвствует молва,
У них явился гость отменный,
Какой-то гений исступленный,
Пророк и поп *Кази-Мулла.*
Как муж, ниспосланный от бога
Для наставленья мусульман,
Нося открытый алкоран,
Он вопиял сначала строго
На тьмы пороков и грехов
Своих почтенных земляков;
Стращал их пагубною бритвой,
Которой к раю на пути,
Запасшись доброю молитвой,
Должны их души перейти
Иль, отягченные грехами,
Упасть на огненное дно,
Где нечестивым суждено
Жить в вечной каторге с чертями.
«О, горе нам, Алла, Алла! —
Черкесы вторят с умиленьем,—
Велик и прав святой мулла
С ужасной бритвой и мученьем!»
А он, усами шевеля,
Как голова на сходе шумном,
И знаком вопли прекратя,
Вещал в пророчестве безумном:
«Откройте сонные глаза,
Развесьте уши, все народы!
Грядут со мною чудеса
И воскресение свободы!
Определения судьбы
Готовят нам иную долю:
Исчезнет Русь, конец борьбы —
Вы возвратите вашу волю!

Жив бог, а я — его пророк!
Его уста во мне вещают;
В моей деснице пребывают
И жизнь, и смерть, и самый рок!
Как дождь нежданный и обильный,
Мы ополчимся на врагов,
Прогоним их рукою сильной
С анапских пашен и лугов,
С холмов роскошных Дагестана,
И ненавистного тирана
Свободных гор, без оборон,
Обратно вытесним за Дон!
О, верьте! Крепости, станицы
И села русских — прах и тлен;
Их дети, жены и девицы
Узнают гибель, месть и плен,
И населят леса и степи,
У нас отнятые войной,
И только с смертию земной
Спадут с них тягостные цепи!»
И раздались и вопль и стон:
«Исчезни, Русь, ступай за Дон!»
Смутились буйственные горы;
В мятежных сонмах, в тишине,
Везде идут переговоры
Об удивительной войне.
Везде мулла благовествует;
Он — им посланник от небес,
Нигде ни шагу без чудес:
Там он покойно марширует,
Все видят, босый, по реке;
Там улетает налегке
К седьмому небу из аула;
Там обращает кошку в мула,
А здесь забавной чередой
Переменяет вид природный
И перед вами, как угодно,
Без бороды и с бородой!
В один и тот же миг нежданный
Изволит быть в пяти местах [1],

[1] Ничего вымышленного: верный отголосок молвы горцев о чудесах новоявленного пророка *(примеч. автора)*.

Короче: поп довольно странный,
Хотя б и в русских деревнях...
Что делать? Шутка не до смеха!
Пошла ужасная потеха.
Черкес мирно́й и немирно́й —
Все бредят мыслию одной:
Скорей исполнить предсказанье,
Закон докучный истребить
И Русь святую на изгнанье
За Дон широкий осудить.
Иные, кое-где от скуки,
Уже сбирались по ночам;
Но им, как дерзким шалунам,
Веревкой связывали руки;
Другие, несколько умней,
С мирского общего совета,
Держались неутралитета
И ожидали лучших дней.
Но больше всех, как якобинцы,
Взбесились жители земли
Под управлением вали —
Неугомонные тавлинцы;
За ними вслед койсубулинцы.
Шамхал, заботливый старик,
Кричал о казни громогласно,
Но беспокоился напрасно,
И бунт торжественно возник...
Читатель, ежели ты сроду
Хотя две книги прочитал,
То непременно угадал
Причину нашего похода.
Что будет далее, прошу
Меня не спрашивать заране:
Ты не останешься в обмане;
Я всё подробно опишу.

Глава V

Когда по высшему веленью
Уничтожались иногда
С лица земного города,
То мудрено ль землетрясенью —
Хочу я физиков спросить —
Аул кумыков навестить,

Разрушить две иль три мечети,
В которых набожно с муллой
Молились девы, старцы, дети
Перед невидимым Аллой —
И вдруг с глухим подземным гулом,
Под грудой камней и столпов
Прейти в обители отцов?
Вот быль с Андреевским аулом:
Шесть суток гром по временам
Из тьмы кромешной по горам
Носился тихо и протяжно,
Потом решительно и важно
Во всех местах загрохотал,
Дома и сакли разметал,
Испортил в крепости строенья,
Казармы, стены, укрепленья —
И... очень скромно замолчал.
Сего печального явленья
Мы не застали, но следам
Еще живого разрушенья
Дивились с горестию там.
Всё было дико и уныло,
Всё душу странника в тоску
И грусть немую приводило.
Громады камней и песку,
Колонн разбитых пирамиды,
Степные пасмурные виды,
Туман волнистый над горой,
Кустарник голый и порой
Как будто мертвое молчанье...
Два дня томилось ожиданье:
Когда ж идти на явный бой,
Алкая смерти благородной?
Раздался снова шум походный —
И полк дружиной боевой
Идет дорогою степной.
Всё те же холмы, горы, реки,
Всё те же ветры и жары,
Сырые, вредные пары
И кукурузные чуреки [1],

[1] Чуреки.— Горцы вообще не имеют хлеба, а заменяют его чуреками — лепешками, печенными в золе, из проса, пшена или кукурузы *(примеч. автора)*.

Всё те же змеи по полям.
Вода с землею пополам,
Кизиль неспелый, розан дикий,
Черешня с луком и клубникой,
Чеснок, коренья всех родов
И сыр из козьих творогов...
Идут... Седая пыль столбами
Летит вослед за казаками;
Мирны́е всадники толпой
Покойно едут стороной;
Мешаясь с ними, офицеры
Заводят речи — на словах
И пантомимой — о конях,
Кинжалах, шашках; канонеры
За путевым экипажо́м
Идут с зажженным фитилем;
Джигиты бешеные скачут;
Трещат колеса по кремням;
Арбы немазаные плачут;
Везде и крик, и шум, и гам.
Там с крутизны несется фура,
Там, между узких дефилей,
Впрягают новых лошадей...
Но вот аул Темир-Хан-Шура
Мелькнул за речкою вдали;
Вот ближе, ближе... Перед нами...
Прошли — привал!.. И за стенами
На отдых воины легли.
Вода кипит, огонь пылает;
Быки в котлах, готов обед;
Здоровы все, усталых нет!
Вдруг шум внезапный прерывает
Воинский добрый аппетит.
Глядим... Какой чудесный вид!
Из-за горы необозримой
Необозримою толпой,
Покорной, тихою стопой
Идет народ непокоримый.
Потупя взоры, в тишине,
Как очарованы во сне,
Питомцы яростные брани;
Обезоружены их длани;
Ни пистолет, ни ятаган

Не красят пышного наряда;
Вся их надежда, вся ограда
Перед начальником отряда —
Их предводитель — Сулейман.
Печален, бледен, сын шамхала,
Склоня колена и главу,
Почтил безмолвно генерала.
Ковер раскинут на траву,
И, может быть, в виду народа,
За кратким отдыхом похода,
Судьба пришельцев решена!
Паше бумага подана...
Он пишет... кончил. С уваженьем
Вторично голову склоня,
Садится с ловким небреженьем
На подведенного коня.
Народ, князья, все равным кругом
Его обстали... На коней
Взлетают все... Быстрей, быстрей
Обратно скачут друг за другом
И, то являясь на горе,
То исчезая за горою,
Как свет на утренней заре
В борьбе с туманной пеленою
Иль при волшебном фонаре
Рои китайских легких теней,
Они сокрылись... Для чего?
Откуда, как и отчего?
Не предложу моих суждений,
Не объясню вам ничего,
Затем, что знаю очень мало;
Что́ знаю мало, не скажу,
А лучше место покажу,
Где всякой тайны покрывало
Всегда прозрачно и светло,
Как изумруд или стекло.
Вот это место дорогое:
Оно на кухне у котлов.
Там всё премудрое земное;
Там ежедневно от голов
Веселых, добрых, беззаботных
И завсегда словоохотных
Легко вы можете узнать

Такие вещи в белом свете,
О коих даже в кабинете
Не часто смеют рассуждать.
Там всё подробно вам докажут,
А в заключение того
С божбой анафемскою скажут,
Что этот слух от самого
Кузьмы Савельича Скотова.
«Коль скоро так, тогда ни слова,—
Все закричат, разиня рот,—
Кузьма Савельич не соврет!»
А кто он? — спросите вы кстати;
Да генеральский человек...
Ужели то вам невдомек?
Таков обычай русской рати.
Прошу пожаловать за мной
К котлам... поближе... так... садитесь.
Вот ложка вам, перекреститесь...
Бульон здоровый и мясной...
Чу!.. О тавлинцах разговоры.

Кашевар 1-й

Да, да, естественные, воры!
Коль наших нет, так берегись,—
Башку сорвут, как звери злые;
Отрядом только покажись —
И все приятели мирны́е.

Кашевар 2-й

Весь в красном, сколько серебра
На шароварах и бешмете.

Кашевар 1-й

Как не иметь ему добра,
Порезав нас, на белом свете?

Мушкатер
(раскуривая трубку)

Сперва словами улещал,
Что бунтоваться уж не станет,
А после клятву написал.

Голосов 10

Небось!.. Московских не обманет!..

Кашевар 1-й

Я, говорит он, воевать
С царем российским не намерен,
А чтоб он был во мне уверен,
Готов ему присягу дать
И серебра, и много злата.
А есть в горах у нас два брата,
Которых трусит весь Кавказ,—
Они воюют против вас.

Кашевар 2-й
(из-за котла)

Уймем не этаких нахалов.

Кашевар 1-й

А я, дескать, Мирза Шамхалов,
Ваш вечный данник и слуга!

Мушкатер

Забудет гневаться... Ага!..
А сколько верст еще до места?

Кашевар 1-й

Да что! С хорошего присеста
Часа в четыре мы дойдем.

Кашевар 2-й

И всех их завтра перебьем!
Да, если б что-нибудь под руку
Случилось, братцы, мне поймать,
Уж то-то б стал я разгонять
На кухне тягостную муку,
Всегда б был навеселе, пьян!

Кашевар 1-й

Гей, вы, вставайте, барабан!

Котлы, котлы! Как сходны вы
С столами светских сибаритов,
Где пресыщаются умы,
За недостатком аппетитов,
Болтаньем сплетницы-молвы!

А вы, одутливые бары,
Среди поклонников своих —
Желудков тощих и пустых,—
Вы в полном смысле кашевары!

Глава VI

Вот наконец мы и пришли
Под знаменитый Эрпели́!
В пяти частях моих записок
Представя вкратце весь поход,
Я должен здесь, как Вальтер Скотт
Или Байро́н, представить список
С живых, разительных картин
Вам, мой любезный господин,
Иль вам, почтеннейшая дама,
(Которым вместо порошков
Смекнула ласковая мама
Поднесть тетрадь моих стихов.
Рецепт действительный, не спорю).
Но, к моему большому горю,
Я должен правду вам сказать,
Что не умею рисовать.
Учился прежде у Визара
Чертить контуры рук и ног,
Но смелой живописи дара
Понять, как Йогеля урок,
Подобно У... ну, не мог.
Простите ж мне мое незнанье —
Ему взамену есть старанье;
Мой безыскусный карандаш
Так точно верен без поверки,
Как на устах у лицемерки
Всегда готовый «Отче наш».
Картина первая: на ровном
Пространстве илистой земли
Стоит в величии огромном
Аул тавлинцев — Эрпели́.
Обломки скал и гор кремнистых —
Его фундамент вековой;
Аллеи тополой тенистых —
Краса громады строевой.
Везде блуждающие взоры

Встречают сакли и заборы,
Плетни и валы; каждый дом —
Бойница с насыпью и рвом.
Над разорвавшейся рекою,
Бегущей с горной высоты,
Искусства чудною рукою
Везде устроены мосты;
Водовороты, переходы,
Каскады, мельница, отводы —
Всё дышит резкой наготой
Природы дикой и простой...
В ауле шум и конский топот,
Молчанье жен и детский хохот;
На кровлях, в окнах, у ворот
Кипящий ветреный народ,
Богато убранный, одетый,
Как кизильбаши персиян;
Там — атаманский ятаган;
Там — ружья, сабли, пистолеты
Блестят, сверкают серебром
В своем параде боевом;
Здесь — коней странные приборы:
Луки, уздечки, стремена;
Бород раскрашенных узоры,
Куски материй, полотна,
Едва скрывающие плечи
Седых, запачканных старух,
И лай собак на русский дух,
И крик, и визг, и сцены встречи,
И говор волн, и ветра гул —
Вот скопированный аул!..
Идем — и вид другой картины:
Среди возвышенной равнины,
Загроможденной с двух сторон
Пирамидальными горами,
Объявших гордыми главами
С начала мира небосклон,
Разбиты белые палатки...
Быть может, прежние догадки
Теперь решились: это он —
Второй наш добрый батальон!
Так, он — свободный, незапертый,
Как утверждали мы сперва,

Но вот еще здесь лагерь!.. два!..
И три!.. наш будет уж четвертый...
Идет всё далее отряд...
Вот эполеты заблестели.

. . . .

Бутырцы красные блестят...
Московцы странно говорят...

. . . .

Какой же, братцы, это полк?
Куринский! — некто отвечает

. . . .

И начался тихонько толк!
Меж тем особу генерала
Два сына старого шамхала,
Со свитой пышною князей
И благородных узденей,
С благоговеньем окружали
И на челе его читали
И мир и грозный приговор —
Великой правды договор.
Поборник древней русской славы,
Как полководец величавый,
Он привлекал к себе сердца;
В нем зрели с чувством удивленья
Два неразрывные стремленья:
И властелина и отца.
Что мыслил он? Что отражалось
Во глубине его души?..
Не смеем знать... нам оставалось
Молить всевышнего в тиши;
О чем молить — другая тайна:
Ее постигнуть может тот,
Кто духом истый патриот;
Для злых она необычайна.
  О Эрпели́, о Эрпели́!
И ты уроком для земли!
И ты, быть может, для поэта
В другие дни, в другие лета
Послужишь пищею живой!
Ты воскресишь воспоминанье
О бурях сердца, о страданье
Души, волнуемой тоской,
Под игом страсти роковой!

Быть может, ежели холера
Меня в червя не обратит,
Походный грифель мушкатера
В карманной книжке сохранит
Твои леса, ручьи и горы,
И друга искреннего взоры
Прельстятся с правнуком моим
Изображением твоим.
Я расскажу им в час досужный
Об эрпелийской красоте
И эпизод довольно нужный
Не пропущу о баранте,
Кафир-Кумыке, Казанищах,
Где был второй наш батальон,
И о любезнейших дружищах,
Которым всё поведал он
Под сенью мирных балаганов:
Плененье горских пастухов
Со многим множеством баранов
И полновесных курдюков...
Тьмы разных случаев, тревоги
И приключения в дороге...
Все эти песни хороши,
Но вот что в голову мне входит:
Подчас за разум ум заходит,
А я теперь, хоть не пиши,
Заняться вздумал я мечтою
Нелепой, странной и пустою —
О счастье будущих времен,
А настоящие оставил
Тогда, как первый батальон
Еще палаток не поставил.
Итак, моя галиматья,
Adieu, до будущего дня!

Глава VII

Не зная исстари властей,
Повиновенья и князей,
Вина мятежных покушений,
Бунтов и общего вреда —
В кругу шамхаловых владений
Гнездилась дикая орда.

На дне вертепов неприступных,
Таясь, как новый сатана,
Таить не думала она
Надежд и замыслов преступных:
Взирала гордо на позор
Бунтовщиков окружных гор,
Смирённых вдруг единым словом,
И, ненавидя мир и дань,
В ожесточении суровом
Она готовилась на брань.
Ни жребий явный истребленья,
Ни меры кроткие главы
Победных войск и ополченья
В виду защитной их горы,
Ни увещания таблинцев
. . . .
Не укротили роковой,
Отважный бунт койсубулинцев.
С вершин утесов на отряд
Они смеются беззаботно,
Готовят пули и охотно
Кинжалы длинные острят.
Ни путь широкий, ни тропины
На их высокие стремнины
Стопы пришельцев не ведут.
Пред любопытными очами
Стоит с гранитными стенами
Природной крепости редут,
Недосягаемый, огромный.
В хаосе пропасти бездонной,
Как тартар буйный и живой,
Кипят свободные аулы...
Кто видел легкие черты
С картины адской суеты
В заводах Брянска или Тулы,
Где неумолчною чредой
Гудят и стонут над водой
Железо, медь, чугун и камень,
Где угли, искры, жар и пламень
Блестят, сверкают и шумят,
Где гвозди, молоты, машины
И рук искусственных пружины
В насильном действии звучат

И поражают удивленьем
И свежий слух и свежий взор,—
Того незначащим сравненьем
Знакомлю с видом этих гор.
Дыша слепым ожесточеньем,
Там всё кипит вооруженьем:
Как муравьиные рои,
Мелькают всадники и кони;
Куют джелоны, сбруи, брони,
Чеканят ружья, лезвии;
Везде разъезды, шум и топот;
В глухой дали отзывный грохот,
Огни, пальба, воинский крик
И в кольцах грудь — на русский штык.
Они не знают нашей встречи;
Им незнаком открытый бой;
Питомцы наглых битв и сечи,
Они не зрели над собой
Свистящих ядер и картечи.
Но рати северной приход
Даст брани новый оборот
. . . .
. . . .
. . . . . В восьми верстах
От гордой вражьей цитадели,
Среди равнины на холмах
Шатры отряда забелели.
Здесь видим дружные полки
С брегов Москвы благословенной;
А там — граненые штыки
Пехоты русской отдаленной,
Из заграничных городов,
Всегда готовые на зов
Царя, начальников и чести;
Там, гибель верная врагов,
Алкая крови, бед и мести,
Стоит ватага казаков;
И там за лагерем походным
Ибрагим-бек и Ахмет-хан,
Князья от крови мусульман,
Пылáя рвеньем благородным,
Из разных стран под Эрпели́
Свои дружины привели.

У них кумыки и тавлинцы
С свинцом и сталью на конях,
И с ятаганами в боях
Пехота горцев — мехтулинцы.
У вод холодного ручья
Аул летучий их мятется,
И знамя розовое вьется
Над белой ставкою вождя.
Все ждут решительной осады,
Все ждут и смерти и награды...
И вот на утренней заре
Отрядом легким батальоны
С весельем двинулись к горе.
Пути не видно... Нет препоны!
Война и слава не без слуг:
С подошвы горной сотни рук
Взрывают новую дорогу.
Идут и роют... Впереди
Зияют пушки роковые,
Внутри рядов и позади
Кинжалы, ружья боевые
И беспардонные штыки.
Вот пуля свищет, вот другая...
Идут... Вот залп из-за кремней
Раздался, сверху пролетая...
Идут, работают смелей...
Уж высоко! Туман нагорный
Густеет, скрыл средину гор,
Темнеет день, слабеет взор.
Идут отважно и упорно,
Внезапный холод, ветер, дождь
Приводят в трепет нестерпимый,—
Идут стеной неотразимой!
Среди их друг и бодрый вождь!
Вот солнце яркими лучами
Блеснуло вновь. Туман исчез...
Они вверху, и пред глазами,
С огромной массою небес,
Как в неразрывной, длинной цепи,
Слились, казалось, горы, степи,
Холмы, долины. Целый мир
Представил чувствам дивный пир...
Безмолвно воины взирают

На точку светлую земли;
Едва заметные, мелькают
Под ними стан и Эрпели́.
Вдали, под крепостию Бурной,
Синеет моря блеск лазурный,
Ландшафт несвязный дальних стран,
И вкруг — воздушный океан...
Поражены недоуменьем,
Они бросают мутный взор
Во глубину ужасных гор,
Глядят... И, с радостным движеньем
От поразительных картин,
Отряд отхлынул от стремнин.
Там — света нового пространство,
Мифологическое царство
Подземных теней и духов;
Там елисейские долины,
О коих исстари веков
Не знают русские дружины,
Цветут средь рощей и дубров;
Там по гранитам зеленели
Кедровник, пихта, ольха, ели;
Там, роя камни и песок,
Сулак, как мелкий ручеек,
Бежал извилистой струею;
А там огромной полосою
Вдали тянулись над водой
Скалы безбрежною грядой,—
И тридцать шесть аулов бранных,
Покрытых мрачной тишиной,
Как сонмы демонов изгнанных,
В тени чернели рассыпной.
Глаза, очки, лорнеты, трубы,
Носы, фуражки, уши, губы —
Всё устремилось с высоты
В страну ужасной красоты.
Глядели, думали, дивились,
Кричали, охали, крестились,
И, изумленные, сошли
С полнеба к жителям земли...
Насилу кончил! Слава богу.
Устал! Позвольте замолчать...
Прорыв на первый раз дорогу,

Поэму буду продолжать.
Всего мучительней на свете
Серьезный выдержать рассказ,
А я, имейте на примете,
Перо туплю не на заказ,
Без подлой лести и прикрас.
Не знаю, строгая цензура
Меня осудит или нет;
Но всё равно — я не поэт,
А лишь его карикатура.

Глава VIII

«Ну-ну, рассказчик наш забавный,—
Твердят мне десять голосов,—
Поведай нам о битве славной
Твоих героев и врагов!
Как ваше дело, под горою?» —
«Готов! согласен я, пора!
Итак, торжественно со мною
Кричите, милые: ура!» —
«Ба! и сраженье и победа,
Как после сытного обеда
Дессерт и кофе у друзей!
Так скоро?» — «Ровно в десять дней
Покорность, мир и аманаты —
И снова в Грозную поход!» —
«Какой решительный расчет,
Какие русские солдаты!
Но как, и что, и почему?»
Вот объяснение всему:
Койсубулинская гордыня
Гремела дерзко по горам;
Когда ж доступна стала нам
Их недоступная твердыня
Посредством пушек и дорог
(Чего всегда избави бог),
Когда злодеи ежедневно,
Как стаи лютые волков,
На нас смотрели очень гневно
Из-за утесов и кустов,
А мы, бестрепетною стражей,
Меж тем работы берегли

И, приучаясь к пуле вражьей,
Помалу вверх покойно шли,
И скоро блоки и машины
Готовы были навестить
Их безобразные вершины,
Чтоб бомбой пропасть осветить,—
Тогда военную кичливость
У них рассудок усмирил
И непробудную сонливость
Бессонный ужас заменил.
Сначала бодрые джигиты,
Алкая стычек и борьбы,
Они для варварской пальбы
Из-под разбойничьей защиты
Приготовляли по ночам
Плетни с землею пополам,
Дерев огромные обломки,
И, давши залп оттуда громкий,
Смеялись нагло русакам,
Стращали издали ножами
С приветом: «яур» и «яман» —
И исчезали, как туман,
За неизвестными холмами;
Но после, видя жалкий бред
В своем бессмысленном расчете,
Они от явных зол и бед
Все были в тягостной заботе.
Едва зари вечерней тень
Прогонит с гор веселый день
И ляжет сумрак над полями —
Никем не зримыми толпами
В ночном безмолвии они
Разводят яркие огни,
Сидят уныло над скалами
И озирают русский стан,
Который, грозный, величавый
И озарен луной кровавой,
Лежит, как белый великан.
С рассветом дня опять в движенья
Неугомонная орда:
Отрядов сменных суета
И новых пушек появленье
Своей обычной чередой —

Всё угрожает им бедой,
Неотразимою осадой.
Невольный страх сковал умы
Детей отчаянья и тьмы
За их надежною оградой...
И близок час, готов удар!
Кипит в солдатах бранный жар!
Полки волнуются, как море!
Последний день... и горе, горе!..
Но вот внезапно мирный флаг
Мелькнул среди ущелий горных;
Вот ближе к нам — и гордый враг,
С смиреньем данников покорных,
Идет рассеять русский гром,
Прося с потупленным челом
Статей пощады договорных...
Статьи готовы, скреплены...
Народов диких старшины
Решают участь поколений.
Восходит светлая заря...
В параде ратные дружины:
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!
Присяга нового владенья —
И взорам тысячей предстал
Победоносный генерал
Без битв и крови ополченья!..
Цветут равнины Эрпели́,
Покой и мир в аулах бранных;
Не видят более они
Штыков отряда троегранных,
В своих утесах вековых
Не слышат пушек вестовых!
Громада зыбкая тумана,
Молчанье, сон и пустота
Объемлют дикие места
Надолго памятного стана.
И стан под Грозною стоит...
Но дума, дума о прошедшем
Невольно сердце шевелит;
В бреду поэта сумасшедшем
Я дни минувшие ловлю
И, угрожаемый холерой,

Себя мечтательною верой
Писать о будущем люблю.
Поклонник муз самолюбивый,
Я вижу смерть невдалеке;
Но всё перо в моей руке
Рисует план свой прихотливый.
Сойдя к отцам вослед других,
Остаться в памяти иных!
Быть может, завтра или ныне,
Не испытав черкесских пуль,
Меня в мучной уложат куль
И предадут земной пустыне...
В глухой, далекой стороне
От милых сердцу я увяну...
В угодность злобному тирану,
Моей враждующей судьбе!
Увидя мой покров рогожный,
Никто ни истинно, ни ложно
Не пожалеет обо мне.
Возьмут, кому угодно будет,
Мои чевяки и бешмет
(Весь мой багаж и туалет) —
И всякий важно позабудет,
Кто был их прежний господин...
А панихиды, сорочин,
Кутьи и прочих поминаний
Хоть и не жди!.. Вот мой удел!
Его без дальних предсказаний
Я очень ясно усмотрел...
Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..
Найдут в углу моей палатки
Мои несчастные тетрадки,
Клочки, четвертки и листы,
Души тоскующей мечты
И первой юности проказы...
Сперва, как должно от заразы,
Их осторожно окурят,
Прочтут строк десять втихомолку
И, по обычаю, на полку
К другим писцам переселят...

А вы, надежды, упованья
Честолюбивого созданья,
Назло холере и судьбе,—
Вы не погибнете с страдальцем:
Увидит чтец иной под пальцем
В моих тетрадках А и П,
Попросит ласковых хозяев
Значенье литер пояснить —
И мне ль бессмертному не быть? —
Ему ответят: *«Полежаев...»*
Прибавят, может быть, что он
Был добрым сердцем одарен,
Умом довольно своенравным,
Страстями; жребием бесславным
Укор и жалость заслужил;
Во цвете лет — без жизни жил,
Без смерти умер в белом свете...
Вот память добрых о поэте!

1830

ЧИР-ЮРТ

Любезный друг!

. . . .

...Среди ежедневных стычек и сражений при разных местах в Чечне, в шуму лагеря, под кровом одинокой палатки, в 12 и 15 градусов мороза, на снегу, воспламенял я воображение свое подвигами прошедшей битвы, достойной примечания в летописях Кавказа, и в 11 дней написал посылаемый к тебе «Чир-Юрт».

А. П. Л<озовскому>.
Крепость Грозная, 25 мая 1832 года

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Цель бытия души высокой,
Удел и жизнь полубогов —
Сияет слава в тьме веков,
В пучине древности глубокой.
Подобно юной красоте
В толпе соперниц безобразных,
Подобно солнцу в высоте
Перед игрой лучей алмазных,
Она блестит, она горит
Без украшений и убранства,
Среди бесплодного тиранства
Своих ничтожных эвменид.

Где тот, чью душу не волнует
Войны и славы громкий глас?
Чье сердце втайне не тоскует,
Внимая воина рассказ
О наслажденьях жизни бранной,
Кровавых сечах и боях,
О вражьих пулях и мечах,
И смерти, всюду им попранной?
Кто не стремится, не летит
Душой за взором и за словом,
Когда усатый инвалид

На языке своем суровом,
Но верном, как граненый штык,
С которым к правде он привык,
Передает детям иль внукам
Любимый ключ к своим наукам —
Большую повесть прежних лет?
О, знай, питомец Аполлона,
Там, где витийствует Беллона,
Ничтожен гений и поэт!

Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,
Где б люди жили не врагами
Без права силы и войны!
О, где не встретим мы способных
Основы блага разрушать?
Но редко, редко нам подобных
Умеем к жизни призывать!..

Младые воины Кавказа,
Война и честь знакомы вам;
Склоните слух к моим словам,
К словам кавказского рассказа!
Я не усатый инвалид,
Наследник песней Оссиана;
Под кровом горного тумана
Мне дева арфы не вручит...
Но ропот грусти безотрадной,
Пиры кровавые мечей —
Провозгласит вам, славы жадный,
Певец печали и страстей.
Добыча юности безумной
И жертва тягостная дня,
Я загубил уже в подлунной
Состав весенний бытия.
Неукротимый и мятежный,
Покоя сладкого злодей,
Я потонул в глуби безбрежной
С звездой коварною моей.
На поле чести, в бурях брани,
Мой меч не выпадет из длани
От страха робостной души;
Но, вечной грустью очарован,

Наедине с собой, в тиши,
Мой ум бездействен, дух окован
Цепями смерти вековой,
Как гений злобы роковой.
Забытый, пасмурный и скучный,
Живу один среди людей,
Томимый мукою своей,
Везде со мною неразлучной...
Безжалостный, свирепый взор,
Привет холодный состраданья —
Всё новой пищей для страданья,
Всё новый, вечный мне укор!..
Одни тревоги и волненья,
Картины гибели и зла —
Дарят минуты утешенья
Тому, кто умер для добра...
Так, уничтоженный для жизни,
Последней кровью для отчизны
Я жажду смыть мое пятно!..
О, если б некогда оно
Исчезло с следом укоризны!..
Военный гул гремит в горах;
Клятвопреступный дагестанец,
Лезгин, чеченец, закубанец
Со мною встретятся в боях!
Не изменю царю и долгу,
Лечу за честию везде,
И проложу себе дорогу
К моей потерянной звезде...

Меж тем под ризою ночною
Шумит в разбойничьем лесу
С своей обычной быстротою
По голым камням Арак-су.
Но искры бунта с новой силой
Пророк неистовый раздул,
И стал пустынною могилой
Мятежных подданных аул.
Всё пусто в нем! Свирепый пламень
Пожрал жилище беглецов;
Обломки бревен, черный камень
И пепел брошенных домов
Гласят об участи врагов.

Там, где под русскою защитой
Недавно цвел веселый мир,
Лежит возникший и разбитый
Чеченской вольности кумир.
Поля и нивы золотые,
Удел богатой тишины —
В места унылые, пустые
В единый миг обращены.
Их топчет всадник беспощадный
Своим гуляющим конем,
Меж тем как хищник кровожадный
В оцепенении немом
Клянет отмстительную руку
Неодолимого бойца,
И видит, с жалостью отца,
Тоску, отчаянье и муку
Своей жены, своих детей,
Которых он, изнеможенных,
Нагих и гладом изнуренных,
Сокрыл в пристанище зверей...

Перед аулом над рекою,
В огнях, как пламенный волкан,
Стоит громадой боевою
Каратель буйных — русский стан.
Не многолюдные дружины
В летучих ставках и шатрах
По скату вражеской долины
Вокруг себя наводят страх!
Нет, око видит с изумленьем
В пришельцах русских горсть людей;
Но эта горсть с пренебреженьем
Пойдет на тысячи смертей!..
Не в первый раз под их стопами
Хрустит в лесах осенний лист,
Не в первый раз над головами
Они внимают пули свист!
То дети чести безукорной,
Владыки сабли и штыка.
Мятежник, хищник непокорный
Их знает — эти три полка!..
Всегда в крови на вражьем трупе,
Всегда с победой впереди:

При Эндери, при Маюртупе,
Под богатырским Кошкильди!
Вблизи рассыпана ватага
Неукротимых ездоков,
Казачья буйная отвага,
Краса линейных удальцов.
Татарский вид, вооруженье,
Страны отечественной грудь —
Всё может в рыцаря вдохнуть
Боязни тайной впечатленье.
Взращенный в сечах на коне,
Он дышит смертью на войне!..
Всегда в трудах, всегда в движенье
Сия блуждающая рать;
Ее удел и назначенье —
Закон и правду охранять.
В стране гористой печенега,
Где житель русского села
Без верной шашки у седла
Небезопасен от набега;
Где мир колеблемый станиц,
Ненарушимость достояний,
И святость прав, и честь девиц
Нередко жертвою стяжаний
Неумолимых кровопийц;
Где беззащитные трепещут,
Где в тишине полночной блещут
Ножи кровавые убийц —
Необходим бесстрашный воин,
Опора слабых, страх врага,
И, верный долгу, он достоин
Из рук бессмертия — венка...

Взяла довольно храбрых воев
Неукротимая страна;
Молва гласит нам имена,
И жизнь, и подвиги героев.
Довольно трупов и костей
Пожрали варварские степи;
Но ни огонь, ни меч, ни цепи
Не уничтожили страстей
Звероподобного народа.
Его стихия — кровь и бой,

Насильство, хищность и разбой,
И безначальная свобода...

Ермолов, грозный великан
И трепет буйного Кавказа!
Ты, как мертвящий ураган,
Как азиатская зараза,
В скалах злодеев пролетал;
В твоем владычестве суровом
Ты скиптром мощным и свинцовым
Главы Эльбруса подавлял!..
И ты, нежданный и крылатый,
Всегда неистовый боец,
О Греков, страшный — и заклатый
Кинжалом мести наконец!
Что грохот вашего перуна?
Что миг коварный тишины?
Народы Сунжи и Аргуна —
Доныне в пламени войны;
Брега Кой-су, брега Кубани
Досель обмыты кровью брани!
Там, где возникнул Бей-Булат,
Не истребятся адигеи;
Там вьются гидрами злодеи —
И вечно царствует булат!
Он здесь, он здесь, сей сын обмана,
Сей гений гибели и зла,
Глава разбоя и Корана,
Бич христиан — Кази-Мулла!
«Пророк, наследник Магомета,
Брат старший солнца и луны...»
Вот титла хитрого атлета
В устах бессмысленной страны.
Он чужд пронырства лицемера:
Оно не нужно для глупцов;
Ему довольно пары слов:
Так бог велит, так хочет вера!
Он всё для горцев: судия,
Пророк, наставник, предводитель,
И первый — прав и бытия
Своих апостолов гонитель...
Там, обольщая Дагестан,
Он грабит русского вассала,

И слабый подданный шамхала
Влечется силою в обман.
Граната в парк дохнула адом...
Скала на воздух... Гром, огонь
Взвились над морем... Всадник, конь —
Всё пало ниц кровавым градом...
Пророк исчез с своим отрядом.
Там он, разлив как океан
Свои мятежные народы
Вкруг малой горсти россиян,
Грозит бедой, отводит воды...
Но крепость русская тверда:
Не стонет воин изнуренный;
Сверкает штык ожесточенный —
И льется жаждущим вода!
Что ж гений замыслов преступных,
Посланник мнимый божества?
С гремящей славой торжества
Он оставляет недоступных,
И поучает мусульман
Перед началом первой битвы
Читать прилежнее молитвы
И верить твердо в алкоран...
Вот тайна властвовать умами!
Вот легковерие людей,
Всегда готовое мечтами
Питать волнение страстей!..
Надеждой ложной и безумной
Лукавец очи ослепит,
И сонм невежд хвалою шумной
Свою погибель одобрит.
Уже тогда, как грозно, грозно
Накажет нас правдивый меч,
Хотим мы с робостью пресечь
Удар отмстительный — но поздно!..
Тогда в ужасной наготе
Предстанет нам внезапно совесть,
И ум, блуждавший в темноте,
Прочтет ее живую повесть!
О, для чего я на себе
Влачу раскаяния бремя?..
Зачем счастливейшее время
Я отдал бурям и судьбе,

Несправедливой, своенравной,
Убийце пылкого ума?..
Ужель последней ночи тьма
Застанет труп мой, всё бесславный,
Всё ненавистный для людей,
Отраду вранов и червей?..

Меж тем под ризою ночною
Шумит в разбойничьем лесу
С своей обычной быстротою
По голым камням Арак-су.
Мелькая в нем светло и стройно,
Луна плывет в туманной мгле;
Дружина русская покойно
Стоит на вражеской земле...
Ночлег на месте — нет сомненья...
В кострах чеченские дрова,
Вокруг забота и движенья
И песни звучные слова...
Иные спят, другие бродят,
В кружках толкуют кой о чем;
Пикет сменяют, цепь разводят,
Смеются, вздорят о пустом.
В одной палатке за стаканом
Видна мирская суета;
В другой досужная чета,
Засев en grand над барабаном,
Преважно судит о плие;
А третий зритель машинально
Им поясняет пунктуально,
Что даму следует на пе.

«У всякого своя охота,
Своя любимая забота»,—
Сказал любимый наш поэт;
А потому сомненья нет,
Что часто в лагере походном
Мы видим так же точно свет,
Как и в собранье благородном.
Но вот различие: в одном
Вернее, нежели в другом!..
Тьфу — как несбыточны догадки!
Лишь только даму в третий раз

На не загнули, вдруг приказ:
Снимать немедленно палатки!
Приказ исполнен в тишине;
Багаж уложен, цепи сняты;
В строю рассчитаны солдаты,
И всадник в бурке на коне...
Поход. Марш, марш по отделеньям!
Развились лентой казаки,
И с непонятным впечатленьем
Безмолвно тронулись полки...
Заряд на полке, всё готово!
На сердце дума: верно, в бой!..
Но вопросительного слова
Не знает русский рядовой!
Он знает: с нами Вельяминов —
И верит счастливой звезде.
Отряд покорных исполинов
Ему сопутствует везде.
Он знал его давно по слуху,
Давно в лицо его узнал...
Так передать отважность духу
Умеет горский Ганнибал!
Он наш, он сладостной надежде
Своих друзей не изменил;
Его в грозу войны, как прежде,
Нам добрый гений подарил!
Смотрите, вот любимый славой!..
Его высокое чело
Всегда без гордости светло,
Всегда без гнева величаво.
Рисуют тихой думы след
Его пронзительные взоры...
Достойный — видит в них привет,
Ничтожный — чести приговоры...
Он этим взором говорит,
Живит, терзает и казнит...
Он любит дело, а не слово...
С душою доброю — он строг;
Судья прямой, но не суровый,
Бесстрастно взыщет он за долг;
За чувство истинной приязни
Он платит ласкою отца;
Никто из рабственной боязни

Не избегал его лица;
Всегда один, всегда покоен;
Походом, в стане пред огнем,
С замерзлым усом и ружьем
Нередко греется с ним воин...
Куда ж поход во тьме ночной?
Наш полководец не обманщик,
Его ответ всегда простой:
«Куда ведет вас барабанщик»...

Но мы не первый раз в горах!
Ведет в Внезапную дорога;
От ней в двенадцати верстах
Аул. Мы знаем, где тревога.
Идем. Уж полночь. Огоньки
С высот твердыни замелькали;
По камням речки казаки
С главой дружины проскакали;
За ними вслед полки вперед,
Артиллеристы на лафеты...
Патроны вверх, полураздеты,
Ногой привычною мы вброд.
Вот на горе перед аулом...
«Вперед!» А! верно, на Сулак?
Перелилось болтливым гулом:
Ведь говорил же нам казак!
Давно ль, расставшись с Дагестаном,
На этом месте, о друзья,
Наскуча длинным рамазаном,
Байрам веселый встретил я!
Тогда всё пело беззаботно
В деревне счастливых татар;
В то время русские охотно
Желали видеть их базар.
Мирно́й чеченец, кабардинец,
Кумык, лезгин, койсубулинец,
И персиянин, и еврей,
Забыв вражду своих обрядов,
Пестрели здесь, как у друзей,
Красою праздничных нарядов.
В толпе андреевцев, жидов,
Смотря на разные проказы,
Кто не купил себе обнов

Тогда на лишние абазы?
Один с ружьем приходит в стан,
Другой под буркою мохнатой,
Тот шашкой хвалится богатой,
А этот кажет ятаган.
Всего так много, так довольно,
Товар Востока налицо,
И, признаюсь, меня невольно
Пленило горское кольцо
И трубка,— ах! какая трубка!
Ее разбила у меня
Потом невинное дитя,
Одна девчонка-душегубка.
Но, верьте, я не пропущу
Смешной каприз такого роду —
И по пятнадцатому году
Шалунье славно отомщу...
Теперь где лица, где наряды?
Где разноцветный их базар?
Нигде задумчивые взгляды
Не встретят ласковых татар.
Разбойник яростный в пустыню
Торговый город обратил
И беззаконную гордыню
На пепле саклей водворил.
Одни потомки Авраама
Покорны русскому мечу
И в укрепленьях Ташкичу
Ждут смело нового байрама.

Верхи Андреевой горы
Давно сокрылись для отряда;
Ясней туманная громада,
Сырее влажные пары.
Долина глухо вторит топот
Шагов фаланги боевой,
И зашумел перед зарей
Волны Кой-су протяжный ропот.
Вот прояснился небосклон...
Река вблизи. На берег прямо
Кавалерийский легион
Коней испуганных упрямо
Торопит в воду. Залп огней

Раздался вдруг из камышей...
Покойно, тихо, без ответа
На ласку вражьего привета,
Плывут и едут казаки...
Вторичный залп... Опять молчанье...
В волнах разлившейся реки
И гул, и крик, и коней ржанье.
Вода свирепствует, кипит,
Буграми в рать отважных хлещет;
Товарищ всадника трепещет,
И леденеет, и храпит...
Вздымая морду, друг ретивый
В стихии грозной тонет с гривой,
Дрожит, колеблется, как челн,
Несет заветного рубаку,
Или, предавшись злобе волн,
Бессильный, мчится по Сулаку...
Но солнце блещет в вышине.
И русской пушки гул мятежный
Гласит на вражьей стороне
Чир-Юрта жребий неизбежный!

Вот он, отважнейший в горах,
Как Голиаф неодолимый,
Стоит в красе необозримой
На диких каменных скалах!
Возникший в ужасах природы,
Надменный крепостью своей,
Он — вечный воин мятежей
И страж разбойничьей свободы!
Назло примерной доброте,
Вассал и друг неблагодарный,
Как часто в наглой черноте
Питал он замысел коварный,
Острил убийственный кинжал
На благодетельную руку,
И ей же с робостью вверял
Свою измену, жизнь и муку!
Но он придет — сей лютый час!
Злодей проснется без отрады,
И будет тщетно скорбный глас
Просить отверженной пощады!..

О, как безумна, как дерзка
Неустрашимость смельчака!..
Он презирает наши пули;
Смеясь, готовится к войне,
И между тем в его ауле
Дымятся сакли в тишине...
Когда жена его и дети
Стремятся в ужасе к мечети
И в прахе льют потоки слез,—
Кичливый варвар с небреженьем
Дарит их ложным утешеньем
Иль взором гнева и угроз.
Слепец, уверенный тираном
В своей надежде роковой,
Клялся торжественно Кораном,
Мечом и бритой головой
Спасти могилы правоверных
От поругания собак
И кровью воинов неверных
Насытить яростный Сулак.
Но не преступного вассала
На жертву русскому обрек
Святой губитель их, пророк...
О нет, и подданных шамхала,
Мятежных жителей Тарков,
И маюртупских беглецов
Он здесь собрал для истребленья!
И я клянусь своим ружьем:
Кази-Мулла с большим умом
И вправе требовать почтенья!
Его призывный к брани клич —
Всегда злодеям новый бич!

Смотрите, вот они толпами
Съезжают медленно с холмов
И расстилаются роями
Перед отрядом казаков.
Смотрите, как тавлинец ловкой
Один на выстрел боевой
Летит, грозя над головой
Своей блестящею винтовкой;
С коня долой — удар, и вмиг
Опять в седле, стреляет снова,

К луке узорчатой приник —
И нет наездника лихого!
Вот двое пеших за бугром...
На сошки ружья, приложились...
Три пули свистнули кругом...
Они ответили и — скрылись!

Но пусть картечью и ядром
Пугают робких! Что за дума
У полководца на челе?
Среди Сулака на седле
Взирает мрачно и угрюмо
На переправу генерал.
По грудь в воде, рука с рукою,
Неверной, шаткою ногою
Пехотный сонм переступал;
Река, как ад с отверстым зевом,
Крутя валы с ужасным ревом,
Твердыню храбрых облила;
За каждый шаг — назад, стеною,
Дружину с ношей боевою
Волна свирепая гнала...
Собрав измученные силы,
Без слов, но с бодрою душой,
Они встречают мрак могилы
И образ смерти пред собой.
Один упал, другой слабеет...
Шатнулся, пал... и в целый рост!
На помощь — кони: тот за хвост,
Другой на гриве цепенеет...
Ныряют сабли и штыки;
Несутся пушки с лошадями;
Летает гибель над главами —
Идут бестрепетно полки...
Всегда задумчивый, глубокой
Ценитель сердца и людей,
Но, затаив в душе высокой
Волненье чувства и страстей,
Не изменя чела и взора,
Он вдруг решается... «Назад!» —
Он рек — и силу приговора
Покорно выполнил отряд.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Да будет проклят злополучный,
Который первый ощутил
Мученья зависти докучной:
Он первый брата умертвил!
Да будет проклят нечестивый,
Извлекший первый меч войны
На те блаженные страны,
Где жил народ миролюбивый!..
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Печальный гений падших царств,
Великой истины свидетель:
Закон и меч! — вот добродетель!
Единый меч — душа коварств;
Доколь они в союзе оба,
Дотоль свободен человек;
Закона нет — проснулась злоба,
И меч права его рассек...

Вот корень жизни безначальной,
Вот бич любимый сатаны!
Вина разбоя и войны,
Кавказа факел погребальный!..
И ты сей жребий испытал,
Чир-Юрт отважный, непокорный!
Ты грозно бился, грозно пал
С твоей гордынею упорной.
О, как ужасно разлилось
Меча губительного мщенье!
Как громко, страшно раздалось
В туманах гор твое паденье!..
И час пробил: Чир-Юрта нет!
В стенах Чир-Юрта сын побед,
Огонь, гроза и разрушенье...

Толпа врагов издалека
Взирала с радостию шумной
На отступление врага:
Оно надеждою безумной
Питало ярость смельчака;
Оно вещало суеверным
Определение небес:
«Сам рок противится неверным,
И гяур мстительный исчез!»
Сильней отвага горделивца,
Спесивей варварская честь,
И мчит по саклям кровопийца
Никем не слыханную весть...
Какой восторг и изумленье
И жен, и старцев, и детей!
Какое бурное волненье
Среди народных площадей!..
«Я здесь, рабы мои! я с вами! —
Вещает глас среди толпы.—
Я вам безгрешными устами
Открою таинства судьбы!
Как волны моря от гранита,
От вас отхлынули враги;
Но сила дивная реки
Была небесная защита.
Внимайте мне: придут полки,
Придут полки за палачами,
И меч невидимой руки
Сразит их вашими мечами!..
Молите бога! Сильный бог
Приемлет теплые молитвы,
Но для неправедных жесток
И страшен он на поле битвы!..» —
«Исчезни, рабственный позор! —
Завыли грозно изуверы.—
Умрем за вольность наших гор,
За край родной, за святость веры!»

Чей глас таинственный вещал
Слова коварства и обмана?..
Кто имя бога призывал? —
Мятежник гор и Дагестана!
Но где отряд? Ужели он

С своим вождем не занят славой?
Ужель пророком осужден
Он вечно быть над переправой
И уготовит наконец
Себе страдальческий венец
За пир последний и кровавый,
Который дать желает нам
В угодность бритым головам?..

О горе, горе! по Сулаку
Вблизи отыскан новый брод,
И вождь на гибельную драку
Проклятых гяуров ведет.

«Беда!.. Помилуй, ради бога!
Чего ты хочешь, генерал?..
Пророк шутить не будет много:
Он нас повесить обещал!
Пропали мы, пропали гуртом...»
Но он не слышит, он идет...
И что за чудо? весь народ
Живой явился под Чир-Юртом!

Простите, милые друзья,
Когда за важностью рассказа
Всегда родится у меня
Некстати шутка и проказа!
Ей-ей, не знаю почему,
Я своевольничать охотник
И, признаюсь вам, не работник
Ученой скуке и уму.
Мне дума вольная дороже
Гарема светлого паши,
Или почти одно и то же:
Она — душа моей души.
Боюсь, как смерти, разных правил,
Которых, впрочем, по нужде,
В моральной жизни и беде
Благоразумно не оставил;
Но правил тяжкого ума,
Но правил чтенья и письма
Я не терплю, я ненавижу
И, что забавнее всего,

Не видел прежде и не вижу
Большой утраты от того.
Я трату с пользою исчислю,
И вот что после вывожу:
Когда пишу, тогда я мыслю;
Когда я мыслю, то пишу...
Скажи же, милый мой читатель
И равнодушный судия,
Ужель я должен, как писатель,
Измучить скукою себя?..
Ужели день и ночь для славы
Я должен голову ломать,
А для младенческой забавы
И двух стихов не написать?..
Мы все, младенцы пожилые,
Смешнее маленьких ребят,
И верь: за шалости бранят
Одни лишь глупые и злые.

Всё тихо в лагере ночном.
К земле приникнув головою
С своим хранителем-ружьем,
Приносит русский дань покою.
Питомец севера и льдов,
Не зная прихоти и неги,
Везде завидные ночлеги
Себе находит у врагов.
И сон угрюмый над аулом
Летает с образом луны;
Одна река протяжным гулом
Тревожит царство тишины.
О сон лукавый, сон опасный,
Товарищ думы и тоски!
Тебя приветствуют напрасно
Сии мятежные враги!..
Отрады сладкого забвенья
Всегда чуждается злодей,
И ты крылом успокоенья
С подругой сердца и ночей
Не осенишь его очей!
Увы, печальна, одинока,
С душевной бурей на челе,
Как жертва крови и порока,

Таится, бедная, во мгле;
Она исполнена боязни;
Для ней погиб надежды луч:
Ей светлый день за ризой туч —
Предвестник гибели и казни...
А он, убийца юных дней
Подруги сердца и ночей,
Меж тем, бессонный, на кинжале
Лежит в разбойничьем завале.

Но вот уж ранняя звезда
В пустынях неба показалась;
Волнистой тенью нагота
Полей и гор обрисовалась.
Ударил звонкий барабан;
Завыла пушка вестовая,
И полунощный великан
Восстал, как туча громовая.
Молитва к богу, меч во длань,
И за начальником отряда
Толпой бесстрашною на брань
Валит безмолвная громада.

Певец Гюльнары! для чего
В избытке сердца моего,
В порывах сильных впечатлений,
Назло природе и судьбе,
Зачем не равен я тебе
Волшебным даром песнопений?
Тогда бы кистию твоей,
Всегда живой и благородной,
Я тронул с гордостью свободной
Сердца холодные людей;
Тогда, владыка величавый
Перуна, гибели и зла,
Изобразил бы я дела
Войны жестокой и кровавой:
Отважный приступ христиан,
Злодеев яростную встречу,
Орудий гром, пальбу и сечу,
И смерть, и кровь, и трепет ран...

Изобразил бы я страданье
Полуживого мертвеца;
И жил и членов содроганье,
Его последнее дыханье
И чувства мертвого лица...
Но ты, певец души и чувства,
Умея смертных презирать,
Ты нам не передал искусства
Умы и души волновать!
Как непонятное явленье,
Исчезло мира изумленье —
Великий гений и поэт...
Осиротевшая природа
И Новой Греции свобода
Вещают нам: Байрóна нет!
. . . .
. . . .
Недолго, воины Москвы,
Своих врагов искали вы!
На заповеданной молитве,
С ружьем и шашкою в руках,
Вы их узнали на холмах,
Давно готовых к лютой битве.
Свинец летучий, рассыпной
Встречает рать передовую,
И первый раз в толпу лихую
Направлен меткою рукой
Удар картечи боевой...
И разлетелся с рокотаньем
Заряд чугунного жерла,
И салатовец с содроганьем
Бежит до нового холма...
Засел... Проходит ополченье.
Кремни стучат, ядро свистит...
Защита... натиск... отраженье...
Злодей рассеян и бежит!..

Отряд идет густой колонной;
Но на пути большой овраг,
Кругом завалы; злобный враг
Из-за утесов, пеший, конный,
Стреляет в цепь и в казака;
Навстречу гул единорога,

Картечи, ядра в смельчака —
И снова чистая дорога.

Линейный всадник впереди,
Усач с крестами на груди,
Отважный Засс его главою;
Всегда в виду, всегда в огне,
Под ним летает конь гусарский;
Перед полками князь Черкасский
И полководец на коне.
Земля трясется, тучи дыма,
Жужжанье пули, свист ядра,
И штык, и сабли, и ура
Приводят в трепет мизраима.
Он уступает чудесам,
Клянет открытое сраженье
И, угрожая, в отступленьи,
Спешит к завалам и стенам.

Искусство, сила и природа
Слились, казалось, заодно
В защиту дикого народа:
И рвы, и насыпь, и бревно,
И неприступными рядами,
Как время вечные, скалы.
Над ними вьются временами
Одни свирепые орлы,
И, с алчным криком облетая
В глуби туманной вышины
Чир-Юрт и горы Балтугая,
Невольно в жителей страны
Вдыхают ужасы войны.
Там, укрепясь ожесточеньем,
Засели бодрые враги
И ожидали с небреженьем
Иноплеменные полки.
И вот они перед врагами
С своими страшными громами
Идут нетрепетной грядой;
Питомцы хищного разбоя
Огонь открыли роковой,
И зашумела над стеной
Гроза решительного боя.

Не видно более в дыму
Ни скал, ни воинов аула;
В тревоге приступа, в шуму,
В раскатах пушечного гула
Не слышно голоса вождя,
Но он повсюду, вождь упрямый:
Иди вперед, кидайся прямо
В огонь свинцового дождя —
Он там, покойный, величавый;
Он видит всё, его рука
Вам указует и врага
И путь давно знакомой славы...
Смотрите: вот бросает он
Стрелков бутырских батальон
С крутого берега Сулака.
Пока у варваров кипит
С бойцами егерскими драка,
Стрелок отважный поспешит
Тропой неведомой к оплоту —
И враг, противной стороной,
Увидит вдруг перед собой
Неотразимую пехоту.

Но бой сильнее! Вот ядро
Разбило твердое ребро
Полугранитного завала —
И изумился суевер:
Неустрашимый офицер,
Покорный воле генерала,
Взлетает с скоростью ядра
На вышину другой защиты;
За ним друзья его... Ура!
Толпы неистовые сбиты!..
И — на завале ятаган
И разогнутый алкоран.

Какое гибельное море
На осажденных пролилось;
И гром, и треск, и горе, горе:
Веленье мощного сбылось!
Бутырцы в схватке рукопашной
На опрокинутой стене;
Московец, егерь тучей страшной

На новой сбитой стороне;
Визжат картечи, ядра, пули;
Катятся камни и тела,
Гремит ужасное: «Алла!»
И пушка русская в ауле!..

Кто проникал в сердца людей
С глубоким чувством изученья;
Кто знает бури, потрясенья —
Следы печальные страстей;
Кто испытал в коварной жизни
Ее тоску и мятежи
И после слышал укоризны
Во глубине своей души;
Кому знакомы месть и злоба —
Ума и совести раздор —
И, наконец, при дверях гроба
Уничижения позор;
Кого обманывал стократно
Неверный счастья идеал;
Кто всё ужасно, невозвратно
В безумстве жалком потерял;
Кто силой опыта измерил
Земного блага суеты,—
Тому б страдальцу я поверил
Мои унылые мечты,
Мой ум, мой дух, воображенье,
Под залпом тысячи громов,
На трупах русских и врагов,
На страшном месте пораженья!..
Но, ах! в убийственной глуши
Едва ль я сам не без души!..

Всё истребляет, бьет и губит
Везде бегущего врага:
Его, беспамятного, рубит
Кинжал и шашка казака;
Жестокой местию пылая
В бою последнем, роковом,
Его пехота удалая
Сражает пулей и штыком.
Дитя безумного мечтанья,
Надежда храбрых умерла,

И падшей гордости стенанья
С собой в могилу унесла.
Бежит черкес, несомый страхом,
За ним летучая гроза
И смерти лютая коса
С своим безжалостным размахом.
В домах, по стогнам площадей,
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука
Не знает строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца;
Ей ненавистна кровь чеченца,
Христовой веры палача,—
И блещет лезвие меча...

Как великан, объятый думой,
Окрест себя внимая гул,
Стоит громадою угрюмой
Обезоруженный аул.
Бойницы, камни и твердыни
И длинных скал огромный ряд —
Надежный щит его гордыни —
Пред ним поверженны лежат.
Их оросили кровью черной
Его могучие сыны,
И не поднимет ветер горный
Красы погибшей стороны:
Оборонительной стены
И стражей воли непокорной...
И всё в унынии кругом!
Его судья, властитель новый,
В ущелья гор за беглецом
Теперь несет удар громовый.

Не воин, клявшийся Аллой
Рассеять сонм иноплеменный,
Не воин битвы дерзновенный,
Отважный духом и рукой,
Полурассеянный, разбитый,

Но вечно грозный для врага,
Всегда готовый для защиты,
Бежит, грозя издалека
Победоносному герою,
И вдруг нежданный перевес
Дает отчаянному бою...
Нет, воин ярости исчез
С своею клятвой на завале;
Столпы чир-юртские упали
С утратой славы мусульман,
И лютой мести ураган
Вился над робкими душами
В огне потерянных голов,
Над беззащитными руками
Обыкновенных беглецов...
Не тратьте лишнего заряда,
Рои крылатые стрелков:
Для очарованного стада
Довольно сабли и штыков!
Холмы, утесы и стремнины —
Всё неприязненному путь;
Но вслед за ним — повсюду грудь
И меч торжественной дружины...
За ней отчаянье и стон,
И кровь и смерть со всех сторон!

Между крутыми берегами,
Всегда омытыми водой,
Шумит кипучими валами
Кой-су, туманный и седой.
Противник вечный русской силы,
В холодной сфере глубины
Не раз готовил он могилы
Детям полночной стороны.
Неукротимый и суровый,
Недавно с яростию новой
Он ополчался на коней
И смелых воинов завета,
Когда толпа богатырей
На бранный берег Магомета
Вносила тысячу смертей.
Еще под каменной скалою
Привязан счастливый челнок,

На коем раннею порою
Вчера пронесся лжепророк.
С какою радостию бурной
Волною светлой и лазурной
Он лобызал его края,
Дарил, как ветер, легким бегом
И, силу дивную тая,
Остановил его под брегом.
Теперь кипучею волной,
Сражаясь с черными скалами,
Опять шумит под берегами
Кой-су, туманный и седой.

Уста коварного пророка
Вещали гибель и обман,
И обратились силы рока
На суеверных мусульман.
Но что за крик, и шум, и грохот
От стен Чир-Юрта по горам?
И пули визг и конский топот
Гласят чудесное волнам...
Вот ближе, ближе... Под скалами
Кой-су не плещет, не шумит;
Потомок Каина толпами
На берег в ужасе спешит.
Кой-су кипит, вздымает волны,
Горами хлещет в крутизну,
И воин бритый — пеший, конный —
Стремглав слетает в глубину.
За ним картечи!.. Воют, стонут,
Плывут мятежно, бьются, тонут
Сыны отчаянья и зла...
Спаси их, праведный Алла!

О, кто, свирепою душою
Войну и гибель полюбя,
Равнина бранная, тебя
Обмыл кровавою росою?
Кто по утесам и холмам,
На радость демонам и аду,
На пир шакалам и орлам,
Рассеял ратную громаду?
Какой земли, какой страны

Герои падшие войны?
Всё тихо, мертво над волною;
Туман и мир на берегах;
Чир-Юрт с поникшею главою
Стоит уныло на скалах.
Вокруг него, на поле брани
Чернеет дыму полоса,
И смерти алчная коса
Сбирает горестные дани...

Приди сюда, о мизантроп,
Приди сюда в мечтаньях злобных
Услышать вопль, увидеть гроб
Тебе немилых, но подобных!
Взгляни, наперсник сатаны,
Самоотверженный убийца,
На эти трупы, эти лица,
Добычу яростной войны!
Не зришь ли ты на них печати
Перста невидимой руки,
Запечатлевший стон проклятий
В устах страданья и тоски?
Смотри, во мгле ужасной ночи,
В ее печальной тишине,
На закатившиеся очи
В полубагровой пелене...
За полчаса их оживляла
Безумной ярости мечта;
Но пуля смерти завизжала —
В очах суровых темнота.
Взгляни сюда, на эту руку —
Она делила до конца
Ожесточение и муку
Ядром убитого бойца;
Обезображенные персты
Жестокой болью сведены,
Окаменелые — отверсты,
Как лед сибирский, холодны...
Вот умирающего трепет:
С кровавым черепом старик...
Еще издал протяжный лепет
Его коснеющий язык...
Дух жизни веет и проснулся

В мозгу рассеченной главы...
Чернеет... вздрогнул... протянулся —
И нет поклонника Аллы...

Повсюду, жертвою погони,
Во прахе всадники и кони
И нагруженные арбы;
И победителям на долю
Везде рассеяны по полю
Мятежной робости дары:
Кинжалы, шашки, пистолеты,
Парчи узорные, браслеты
И драгоценные ковры.

Чрез долы, горы и стремнины,
С челом отваги боевой,
Идут торжественной тропой
К аулу русские дружины.
За ними вслед — игра судьбы —
Между гранеными штыками
Влачатся грустными толпами
Иноплеменные рабы.

Восстав над вечною могилой,
В последний день издалека
Чир-Юрт, пустынный и унылый,
Встречает грозного врага.
Сверкает, пышет бурный пламень;
Утесы вторят треск и гул
И указуют пепл и камень,
Где был разбойничий аул...

Когда воинственная лира,
Громовый звук печальных струн,
Забудет битвы и перун
И воспоет отраду мира?
Или задумчивый певец,
Обманут сладостною думой,
Всегда печальный и угрюмый,
Найдет во бранях свой конец?

Май 1832

КЛАДБИЩЕ ГЕРМЕНЧУГСКОЕ

В последний раз румяный день
Мелькнул за дальними лесами,
И ночи пасмурная тень
Слилась уныло с небесами.
Все тихо, мертво: все гласит
В природе час успокоенья...
И он настал: не воскресит
Ничто минувшего мгновенья.
Оно прошло, его уж нет
Для добродетели и злобы!
Пройдут мильоны новых лет,
И с каждым утром новый свет
Увидит то же: жизнь и гробы!
Один мудрец, в кругу людей,
Уму свободному послушный,
Всегда покойный, равнодушный —
Среди волнений и страстей,
Живет в покое безмятежном
Высоким чувством бытия:
В грозе, в несчастье неизбежном,
В завидной доле, затая
Самолюбивое мечтанье,
Он, как бесплотное созданье,
Себе правдивый судия.
В пределах нравственного мира,
Свершая тихий период,
Как скальда северного лира,
Он звук согласный издает,
Журчит и льется беспрерывно,
И исчезает в тишине,
Как аромат Востока дивный
В необозримой вышине.
Цари, герои, раб убогой,—
Один готов для вас удел!
Цветущей, тесною дорогой
Кто миновать его умел?
Как много зла и вероломства
Земля могучая взяла!
Хранит правдивое потомство
Одни лишь добрые дела...
Не вы ли, дикие могилы,

Останки жалкой суеты,
Повергли в грустные мечты
Мой дух угрюмый и унылый?
Что значат длинные ряды
Высоких камней и курганов,
В часы полуночи немой
Стоящих мрачно предо мной
В сырой обители туманов?
Зачем чугунное ядро,
Убийца Карла и Моро,
Лежит во прахе с пирамидой
Над гробом юной девы гор?
Ее давно потухший взор
Не оскорбится сей обидой...
Кто в свежий памятник бойца
Направил ужасы картечи?
Не отвращал он в вихре сечи
От смерти грозного лица.
И кто б он ни был — воин чести
Или презренный из врагов,—
Над царством мрака и гробов
Равно ничтожно право мести!

Сверкает полная луна
Из туч багровыми лучами...
Я зрю: вокруг обагрена
Земля кровавыми ручьями.
Вот труп холодный, вот другой
На рубеже своей отчизны.
Здесь — обезглавленный, нагой;
Там — без руки страдалец жизни;
Там — груда тел... Кладбище, ров,
Мечети, сакли — все облито
Живою кровью; все разбито
Перуном тысячи громов...
Где я? Зачем воображенья
Неограниченный полет
В места ужасного виденья
Меня насильственно влечет?
Я очарован!.. Сон тревожный
Играет мрачною душой...
Но пуля свищет надо мной...
Злодеи близко... Ужас ложный

С чела горячего исчез...
Объятый горестною думой,
Смотрю рассеянно на лес,
Где враг, свирепый и угрюмый,
Сменив покой на заговор,
Таит свой немощный позор.
Смотрю на жалкую ограду
Неукротимых беглецов,
На их мгновенную отраду
От изыскательных штыков;
На русский стан; воспоминаю
Минувшей битвы гул и звук
И с удивлением мечтаю:
О воин гор, о Герменчуг!
Давно ли пышный и огромный,
Среди завистливых врагов,
Ты процветал под тенью скромной
Очаровательных садов?
Рука, решительница боев,
Неотразимая в войне,
Тебя ласкала в тишине
С великодушием героев;
Но ты, в безумстве роковом,
Восстал под знаменем гордыни —
И пред карающим мечом
Склонились дерзкие твердыни...
Покров упал с твоих очей;
Открыта бездна заблуждений.
Смотри, сквозь зарево огней,
Сквозь черный дым твоих селений —
На плод коварства и измен!
Не ты ли, яростный, у стен,
Перед решительною битвой,
Клялся вечернею молитвой
Рассеять сонмы христиан
И беззащитному семейству
Передавал в урок злодейству
Свой утешительный обман?
Ты ждал громового удара;
Ты вызывал твою судьбу —
И пепел грозного пожара
Решил неравную борьбу!..
Иди теперь, иди к несчастным:

Рассей их робость и тоску,
И мсти отчаяньем ужасным
Непобедимому врагу!
И спросят жены, спросят дети
Тебя с волнением живым:
«Где наши сакли, где мечети?
Веди нас к милым и родным!»
И ты ответишь им: «Родные
Лежат, убитые, в пыли;
А их доспехи боевые
На воях вражеской земли!
Удел младенца без покрова —
Делить страданья матерей;
Приют наш — темная дуброва;
Замена братьев и друзей —
Толпа голодная зверей!..»
И заглушит тогда стенанье
Жестокосердые слова,
И упадет на грудь в молчанье
Твоя преступная глава;
И, движим грустию мятежной,
На миг чувствительный отец,
Ты будешь речью безнадежной
Тушить с заботливостью нежной
Боязнь неопытных сердец!
То снова пыл ожесточенья
В душе суровой закипит,
И над главою ополченья
Свинец разбойничьего мщенья
Из-за кургана просвистит...
А грозный стан, необозримый,
Теряясь в ставках и шатрах,
Стоит покойный, недвижимый,
Как исполин, на двух реках.
Великий духом и делами,
Фиал щедроты и смертей,
Пришел он с русскими орлами
Восстановить права людей,
Права людей — права закона,
В глухой, далекой стороне,
Где звезды северного трона
Горят в туманной вышине.
Его вожди... Скрижали чести

Давно хранят их имена!
Труба презрительныя лести
Не пробуждает времена;
Но голос славы, племена —
Отважный галл, осман надменный,
Поклонник ревностный Али,
Кавказ, сармат ожесточенный —
Им приговор произнесли...
Он свят!.. Язык врага отчизны
Свободен, смел, красноречив:
И славный Пор, без укоризны,
Был к Александру справедлив...

Вот эти славные дружины,
Питомцы брани и побед!
Где солнце льет печальный свет,
Где бездны, горы и стремнины,
Где боязливая нога
Едва ступает с изумленьем,—
Везде с крылатым ополченьем
Следы граненого штыка!..
И Герменчуг!.. Народ жестокой,
Народ, свой пагубный тиран,
Когда пред истиной высокой
Исчезнет жалкий твой обман?
Когда, признательные очи
Обмыв горячею слезой,
Ты дружбу сына полуночи
Оценишь гордою душой?..

Покойно все. Между шатрами
Кой-где мелькают огоньки;
С ружьем и пикой за плечами
Кой-где несутся казаки;
Разводят цепи и патрули,
Сменяют бодрых часовых,
И визг изменнической пули
В дали таинственной затих...
И, вновь объятый тишиною,
Под кровом ночи дремлет стан,
Пока с грядущею зарею
Отгрянет с пушкой вестовою
В горах окрестных барабан;

Зажжется яркая денница
На склоне пасмурных небес;
Пробудит утренняя птица
Веселым пеньем сонный лес;
Обвеет дух отрадной жизни
Могучий сонм богатырей,
И дикий вид чужой отчизны
Предстанет в блеске для очей.
О, сколько бурных впечатлений
На поле брани роковой
Проснутся в памяти живой
Победоносных ополчений!
Минувший день, минувший гром,
Раскаты пушечного гула,
Картины гибели аула,
Пальба и сеча, прах столбом,
И визг, и грохот, и моленье,
И саблей звук, и ружей блеск,
Бойниц, завалов, саклей треск —
Все воскресит воображенье...
Вот снова царствует, кипит
Оно в кругу знакомой сферы...
«Ура» отважное гремит...
Бегут на приступ гренадеры,
Долины мирные Москвы
Давно забывшие для славы;
Они бесстрашно в бой кровавый
Несут отважные главы.
На ров, на вал, на ярость встречи,
Под вихрем огненных дождей,
На пули, шашки и картечи
Летят по манию вождей.
Ни крик, ни вопли, ни стенанье —
Ничто отдельно не гремит;
Одно протяжное жужжанье,
Разлившись в воздухе, гудит.
Окопы сбиты... Враг трепещет,
Сбирает силы, грянул вновь,
Бежит, рассеялся — и хлещет
Ручьями варварская кровь...
Повсюду смерть, гроза и мщенье...
Пируют буйные штыки;
Везде разносят истребленье

Неотразимые полки!
Там егерь, старый бичь Кавказа,
Притек от Куры на Аргун
Метать свой гибельный перун;
А там летучая зараза,
Неумолимый карабах,
С кривою саблею в руках,
Как черный дух, мелькает, рубит
Ожесточенного бойца
И опрокинутого губит
Стальным копытом жеребца!
Куртин, казак и персиянин,
Свирепый турок, христианин,
Пришельцы дальней стороны,
Краса грузинских легионов —
Все пало тучею драконов
На чад разбоя и войны!..
И все утихло: глас молитвы
В дыму, над грудой братних тел,
И шум, и стон, и грохот битвы...
Осталась память славных дел!..

Один, под ризою ночною,
В тумане влажном и сыром,
С моей подругою — мечтою —
Сижу на камне гробовом.
Не крест — символ души скорбящей —
Стоит над чуждым мертвецом:
Он славен гибельным мечом,
А меч — символ его грозящий...
Быть может, тень его парит,
Облекшись в бурю, надо мною,
И невидимою рукою
Пришельцу дерзкому грозит;
Быть может, в битве оживляла
Она отчизны бранный дух
И снова к мести призывала
Сокрытый в пепле Герменчуг.

<1832>


"Память добрых о поэте..."
А. И. ПОЛЕЖАЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
И ОТЗЫВАХ
СОВРЕМЕННИКОВ

А. И. Герцен

А. ПОЛЕЖАЕВ

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прошений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu [1].

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева...

И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет — но, на этот раз, уж прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты ли,— спросил он,— сочинил эти стихи?

— Я,— отвечал Полежаев.

— Вот, князь,— продолжал государь,— вот я вам

[1] Праздника божества *(франц.)*.— *Ред.*

дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу,— сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал «Сашку» так переписанного и на такой славной бумаге.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения.— Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки;* я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, в. в.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно, для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться,— отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

— От тебя зависит твоя судьба: если я забуду, ты можешь мне *писать,— поцеловал его в лоб.*

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе — так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, в. с.

— Что же! Доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был — видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом.

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.

Прошли года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое — тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя

неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

— Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:

Без утешений
Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал...

Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николаю он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами; она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и пр. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева,— он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах,— он был произведен в больнице.

Евгений Белозерский

К БИОГРАФИИ ПОЭТА А. И. ПОЛЕЖАЕВА

Биография поэта Полежаева представляет еще много пробелов, много недоговоренного, неясного или даже совсем гадательного. Поэтому, думается, всякие разъяснения или новые черты из жизни несчастного поэта будут приняты с благодарностью всеми истинными любителями русской литературы вообще и поэзии в частности.

Замечательно, что в месте рождения поэта, Саранском уезде Пензенской губернии, где мне пришлось прожить несколько лет, не сохранилось о нем никаких преданий или даже воспоминаний. Из биографии Полежаева известно, что он происходил от незаконной связи помещика Леонтия Николаевича Струйского с его дворовой девушкой Степанидой Ивановной, которую он в силу семейных неприятностей выдал замуж за саранского мещанина Полежаева. И теперь еще в Саранске есть семья Полежаева, по ремеслу мясника, ничем не замечательного или, пожалуй, замечательного тем, что он упорно открещивается от всякого родства с «писакой». Семья Струйских сошла со сцены сравнительно недавно, и об ней в тех местах ходит много рассказов, во всяком случае свидетельствующих о том, что в фамилии Струйских всегда было что-то ненормальное. Поместье Струйских при селе Рузаевке Инсарского уезда, с великолепным каменным домом, лет пять тому назад было куплено на слом монахинями соседнего Пайгарменского монастыря. От этого исторически замечательного дома не осталось теперь камня на камне, а весь кирпич свезен в монастырь для постройки колокольни. Местное Саранское общество, вообще мало интеллигентное, ничем не выразило своего протеста против этого вандализма, совершавшегося у него под боком.

Зато в Москве мне случайно пришлось услышать кое-что о поэте. В начале восьмидесятых годов я познакомился с одной почтенной старушкой, Евгенией Андреевной Дроздовой, урожденной Комаровой, коренной жительницей Москвы. Прежде я слышал, что она знавала Полежаева, но особенного значения этому обстоятельству не придавал. В последний же мой проезд через Москву я услышал от этой старушки много такого, что, по-моему, заслуживает внимания.

Госпоже Дроздовой теперь семьдесят пять лет. Родители ее имели в Москве свои дома и жили очень хорошо. Многие из тогдашних студентов были приняты в их доме, как свои, из которых она помнит Полежаева, Коврайского, Лозовского, Уткина и других. Эта компания студентов составляла свой кружок. Душою товарищества был поэт Полежаев, который безусловно выдавался среди других студентов своим умом и находчи-

востью. Он был очень статен собой и имел замечательно выразительные глаза. Как все студенты того времени, и это товарищество проводило свое время очень весело, занималось кутежами и разными похождениями, в основе которых чаще всего было простое школьничество. Так однажды Полежаев шел с кем-то из товарищей по улице; в это время на извозчике ехала какая-то хорошенькая барышня. Он вскочил сзади на дрожки, поцеловал ее и снова соскочил долой. В другой раз, например, это товарищество студентов раскачало забор перед домом какой-то барышни и т. п. в этом же роде. Товарищи Полежаева говорили г-же Дроздовой, что в университете он шел хорошо и начальство отличало его среди других студентов. На свою беду, поэт перед окончанием университетского курса написал известную шуточную поэму «Сашка», которая в игривой форме описывала разные похождения и кутежи студентов. Название «Сашка» относилось собственно не к одному только Александру Полежаеву, но и ко всем другим товарищам — Коврайскому, Лозовскому, Уткину и проч., которые все назывались Александрами. Эта поэма была написана на нескольких листах писчей бумаги, а на первой странице карандашом был нарисован Уткиным портрет государя с подписью: «Рисовал студ. Уткин».

Первые годы после заговора декабристов было очень строго. Когда государь Николай Павлович приехал в Москву на коронацию, то неизвестно кем-то рукописная поэма «Сашка» была передана ему. В другое время эта шалость и прошла бы, может быть, безнаказанно для поэта, но вскоре после движения декабристов, которое приписывалось вредному образованию юношества, трудно было рассчитывать на снисходительность. Действительно, государь взглянул на дело серьезно и потребовал к себе студента Полежаева. В биографическом очерке Полежаева, предпосланном к изданию его стихотворений журналом «Нива», сказано, что ректор университета разбудил Полежаева часа в три ночи и велел сойти в правление, откуда попечитель округа повез его к министру народного просвещения и т. д. Г-жа Дроздова отрицает это и рассказывает следующее. Полежаев жил в нумерах, на Тверской. Его взяли утром, в чем он был, и отвезли к государю в грязном сюртуке, с двумя пуговицами, и в пуху. Когда государь, сурово взглянув на него, спросил:

— Ты ли сочинял эти стихи?

— Я,— ответил Полежаев.

— Читай,— сказал ему государь, протягивая тетрадь.

— Кто писал, тот читал, ваше императорское величество,— ответил поэт, опять сложив тетрадь и подав ее обратно.

— Бравый солдат,— произнес государь, смотря с любопытством на поэта.

— Готов служить вашему императорскому величеству,— ответил, кланяясь, Полежаев.

Когда поэт вышел из царского кабинета, то генералитет с участием говорил ему:

— Надо было бы упасть к ногам государя и сказать: «Игра ума, ваше императорское величество».

На что поэт ответил: «Что сказано, то сказано». Всякую другую передачу этого события в жизни поэта г-жа Дроздова положительно отрицает и называет выдумкой.

Полежаев после этого был зачислен в Бутырский полк унтер-офицером. С полгода он вел себя хорошо, и первое время об нем каждый месяц доносили государю. Поэт, при его развитии, очевидно, не мог примириться с своим новым положением и, не видя улучшения своей участи, начал пить запоем, и в этом все дальнейшее его несчастие. Пользуясь данным ему правом писать государю, он послал ему просьбу о помиловании. Не получая ответа, он самовольно оставил полк и пошел пешком в Петербург, но одумался и вернулся опять в свой полк. За это, по конфирмации государя, он был лишен личного дворянства и разжалован в рядовые без выслуги. В жизни поэта не осталось никакого просвета и никакого выхода. Он запил горькую. В это-то время с него и был снят помещаемый при сем портрет, писанный студентом Уткиным, который и сам был потом сослан в Сибирь. При этом необходимо оговориться, что собственно подлинный портрет работы Уткина бесследно исчез, но с него в Москве литографским способом было снято пятьдесят экземпляров; вот один-то из этих редких экземпляров и сохранился у г-жи Дроздовой. Он мною передан в Императорскую Публичную Библиотеку. Портрет, по словам г-жи Дроздовой, очень похож, «совсем, как живой», а если лицо кажется одутловатым, то это от запоя.

Когда он был студентом, в него была влюблена одна генеральская дочь, фамилию которой г-жа Дроздова забыла. Она жила на Тверской. Когда он, будучи унтер-офицером, в первое время шел с своей командой куда-то на часы, то, проходя перед домом этой девушки, стоявшей на балконе, он вышел из строя и ружьем сделал ей честь.

Из Москвы, продолжает г-жа Дроздова, поэт был переведен на Кавказ и отсутствовал года три или четыре, а затем в начале тридцатых годов был переведен в Тарутинский егерский полк, командиром которого состоял Святогор-Штепин, вообще относившийся очень снисходительно к поэту. У него Полежаев даже некоторое время был учителем. В это время он очень нуждался в деньгах, пил очень много и все грозился отправиться и собственноручно убить какого-то своего дядю, который обобрал его, присвоив завещанные отцом поэта тысяч двадцать рублей. Это обстоятельство особенно удручающим образом влияло на поэта. Нуждаясь в деньгах на вино, он часто обращался к товарищам, которые давали ему водки, но с тем, чтобы он писал. И вот, сидя за

бутылкой водки, он диктовал стихи, а товарищи записывали их... «И замечательно,— прибавляет г-жа Дроздова,— что, чем бывало он больше пьет, тем пишет лучше».

Он бежал из Москвы всего три раза; последний раз это было в 1837 году, когда он самовольно оставил полк, куда-то пропал и даже пропил свою амуницию. Его нашли, вернули в полк и наказали розгами[1]. Это было осенью, уже в заморозки, но месяца г-жа Дроздова точно не помнит. Его положили в военный лазарет, где он болел больше трех месяцев. «К нам часто приезжал,— рассказывает Е. А. Дроздова,— баталионный адъютант, Михаил Павлович Перфильев, который говорил, что долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья. Мы, девушки, им очень интересовались, но навестить его совестились, однако же через его товарищей и наших знакомых по полку знали о нем самые мельчайшие подробности». К Рождеству 1837 года поэт стал чувствовать себя очень дурно, страшно изменился физически и нравственно, сделался религиозен, причастился, соборовался и умер истинным христианином. Перед смертью он созвал всех своих товарищей и в великолепной речи убеждал их веровать, говорил им, что сам он не приобщался св. Тайн семнадцать лет, но теперь раскаялся и сделался другим человеком.

Е. И. Бибикова-Раевская

ВСТРЕЧА С ПОЛЕЖАЕВЫМ

...Белинский говорит в статье своей о Полежаеве: «И Полежаев пережил этот период *идеального чувства*, но уже слишком не во время, как мы увидим. И потому неудивительно, если не во время и не в пору явившееся *мгновение* было для поэта не вестником радости и блаженства, а вестником гибели всех надежд на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновения не гимн торжества, а вот эту страшную похоронную песнь самому себе (смотри стихотворение: «Черные глаза»). Эти «Черные глаза», очевидно, были *важным*, хотя уже и безвременным, *фактом* в жизни Полежаева; скорбному воспоминанию о них посвящена еще целая, и притом прекрасная пьеса — «Грусть».

Повесть об этом *мгновении*, об этом, по словам Белинского, *идеальном чувстве, важном факте* в жизни По-

[1] Это сообщение мы оставляем на ответственности г-жи Дроздовой и думаем, что оно должно быть проверено биографом поэта по архивам Тарутинского полка *(примеч. автора)*.

лежаева, известна одной мне. Позволяю себе непривычным пером рассказать ее вам. Если сочтете этот первый опыт моих седин достойным помещения в вашем издании, представляю вам на него полное право.

«Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie ewig neu» *.

Heine.

*

В 1834 г. мы провели весну и лето в селе Ильинском. Родители мои, проживая зиму в Москве для нашего детского образования, весной уезжали всегда в степное свое имение. Но в 1834-м году старший брат мой готовился поступить в юнкерскую школу: нельзя было прерывать уроков, а между тем не хотели лишить нас деревенского, живительного воздуха. Родственник наш, граф Александр Иванович Остерман, предложил матери моей свой загородный дворец в селе Ильинском, отстоящем от Москвы в семнадцати верстах. Учители моего брата и мои согласились, за известную плату, приезжать по нескольку раз в неделю в село Ильинское. Дело сладилось.

Не стану описывать прелестного Ильинского, впоследствии купленного императрицею Мариею Александровной. Москвичам хорошо известны эти дивные сады с тенистыми аллеями, эти ковры пестрых душистых цветов, этот великолепный парк, раскинутый по живописному берегу Москвы-реки. В то время по этим садам разбросаны были красивые дачи, где жило отборное общество. Из числа его назову графа Буксгевдена с молодой его женой. Граф был отличный музыкант; мелодичные звуки его скрипки раздавались по вечерам; гуляющие с восторгом часто к ним прислушивались. Тут же проводила лето А. П. Елагина с милой дочерью и детьми. Старший ее сын, от первого брака, Киреевский, издавал журнал, который незадолго пред тем был запрещен. Кто знавал это почтенное семейство, тот никогда не забывал всей прелести их сообщества. Елагина к высокому уму и образованию умела присоединять редкую доброту, простоту в обращении и благосклонность к нам, детям. Всегда скромно одетая, с добродушной улыбкой встречала она нас, возрастающее поколение, а между тем самые строгие и глубокомыслящие люди искали ее беседы и гордились ее вниманием. У нее собирались все знаменитости тогдашней литературы. Я в то время была очень молода, мне только минуло шестнадцать лет; но меня влекло к этой умной, почтенной и доброй женщине, окруженной всеобщим уважением и вместе с тем смотревшей так снисходительно на наши детские игры.

Отец мой, оставя нас в Ильинском, уехал в свое

* Это старая история, но вечно остается новою. *Гейне.*

степное имение по делам хозяйства. Но в июне он написал матери моей, что, чувствуя себя не совсем здоровым, едет в город ***, чтобы посоветоваться там с доктором. Из *** отец писал матери, что доктор удержал его при себе, чтобы лучше следить за действием лечения, но что он не только не скучает в уездном городке, а проводит время самым приятным образом. «В городе ***,— писал он,— стоит пехотный армейский полк, где служит унтер-офицером разжалованный поэт Полежаев. Я познакомился с полковником и выпросил у него дозволения взять к себе на квартиру несчастного молодого человека, в обществе которого время для меня летит незаметно. Ведет он себя безукоризненно».

Далее в письмах своих отец сообщал нам о злополучной судьбе Полежаева: как за поэму его «Сашка» он, бывши студентом, схвачен был и приведен в кабинет государя Николая Павловича; как тот заставил его вслух читать свою поэму, а он неудобные для чтения места экспромтом заменял другими стихами; как царь, заподозрив подлог, вырвал у него из рук тетрадь и убедился в справедливости своей догадки. Николай никогда не прощал тому, кто дерзал его обманывать. Полежаев этому обстоятельству приписывал всю тщетность просьб о его помиловании. У отца моего Полежаев отдыхал душевно, писал стихи, но большая часть времени проходила в живых беседах. Отец мой был образован и умен, сам на досуге писал стихи и умел ценить дарование и ум в молодом поколении. Все письма его полны были похвалами поэту, которого полюбил он от души.

Наконец, получаем письмо, где отец извещает, что чувствует себя хорошо и что на днях приедет к нам в Ильинское и привезет с собой унтер-офицера, чтоб обучать старшего моего брата ружейным приемам, ввиду подготовки к юнкерской школе.

Приезжает отец в конце июня поздно вечером, когда мы уже все спали. Утром рано, на другой день, прибегает к нам наверх мой меньшой брат, мальчик десяти лет, и говорит нам в большом волнении:

— Какого странного унтер-офицера папа привез с собой!

— Что ж в нем странного?

— Да он не похож вовсе на солдата!

— Чем же?

— Il a un regard d'aigle! (У него орлиный взгляд.)

Мы с меньшой сестрой рассмеялись над мальчиком и над воображаемым орлиным взглядом унтер-офицера.

— Что ты вздор мелешь! Какой такой орлиный взгляд?

Мальчик обиделся, рассердился и убежал назад к своему новому знакомому, приговаривая:

— Ну, вот сами увидите, сами увидите!

Мы с сестрой не обратили никакого внимания на слова маленького брата; она взяла свой учебник, грамматику, а я отправилась твердить свои Бетховенские

сонаты в огромную залу дворца (в углу которой моя рояль казалась незаметной точкой).

Собрались пить чай; отец, матушка, сестра меньшая, наша гувернантка поместились вокруг чайного стола, накрытого посреди залы. Пришли братья с учителем, с ними и унтер-офицер. Я не сочла нужным обратить на него внимание и продолжала свои музыкальные занятия. Но вдруг замечаю что-то не совсем обычное. Отец встал и принял какой-то торжественный вид. Я смолкла, слушаю.

— Душа моя,— говорит отец, обращаясь к матери,— дети! Я вас всех обманул! Представляю вам Александра Ивановича Полежаева.

Матушка поднялась с кресел и протянула обе руки Александру Ивановичу. Не помню, как я вмиг из дальнего угла вдруг очутилась рядом с матерью. Все вскочили со своих мест. У отца, у матери, у нас всех выступили слезы. Мои глаза встретились с глазами Полежаева. Мне показалось, что и он был тронут нашим приемом.

С этой минуты Александр Иванович стал у нас своим человеком. Отец захотел, чтоб я срисовала портрет с его любимца. Я тогда недавно начала учиться живописи. Портрет этот писан акварелью, ученической рукой; но он разительно похож, тогда как оба портрета, изданные при стихотворениях Полежаева, нимало его не напоминают.

А. И. Полежаев был нехорош собой. Роста он был невысокого, черты лица его были неправильны; но вся наружность его, с виду некрасивая, могла в одно мгновение осветиться, преобразиться от одного взгляда его чудных, искрометных, больших черных глаз. Этот regard d'aigle, поразивший десятилетнего мальчика, выражал все могущество его творческого духа. Этого взгляда и нет в вышеупомянутых его портретах.

Братья мои чуть не молились на поэта. Они были счастливы, когда он дозволял им молча сидеть в его комнате, пока он писал. У нас он перевел из Виктора Гюго несколько «Orientales», между прочим: «В водах полусонных играла луна...». Писал своего «Кориолана», лучшие места которого не дозволены цензурой. Написал «Божий суд», и вот по какому случаю. У отца были связи в Петербурге; он надеялся испросить другу своему облегчение участи; с этой целью он сказал Александру Ивановичу:

— Напишите мне что-нибудь такое, чтó бы я мог при письме послать графу Бенкендорфу.

Полежаев написал «Божий суд», который тогда почему-то озаглавил «Тайный голос». Отцу понравились стихи.

— Но вы, Александр Иванович, не можете ли прибавить, под конец, что-нибудь вроде просьбы о прощении?

На это Полежаев решительно отказался.

— Я против царя ни в чем не виноват, просить прощения не в чем.

Как ни умолял, ни уговаривал его отец, ничего с поэтом сделать не мог: он остался непреклонен. Тогда отец сам приписал три строфы в заключение и принес мне оба стихотворения.

— Неловко,— говорит,— послать стихи в этом виде: почерк разный в начале и на конце.

Я тотчас вызвалась переписать все стихотворение лучшим своим почерком и радостно припрятала оба автографа, которые до сих пор у меня хранятся. Вот эти стихи.

«Тайный голос.

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада;
А жизнь — мученье без конца.

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благости изрек:
«Да будет прах — величия основой!»
И встал из праха человек,—

Тогда ему — светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын его любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого,
Вились архангелов рои.

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огнь невинности покорной
В сынах бессмертия потух,
И грозно пал, с гордынею упорной,
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд!.. Могущая десница
Подъяла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия;
И отказал в надежде примиренья
Ему правдивый судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состраданья
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам;
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам».

А. Полежаев

«Но нет! Кто снял завесу провиденья?
Кто цель всевышнего постиг?
Ужели он не может без прощенья
Быть столь же благ и столь велик?

О боже! И во мне среди страданий
Надежды пламень не погас.
Твердит душе глагол предвозвещаний:
«Твоей отрады придет час!..»

Быть может, и меня, во мгле атомов,
Воспомнит царь во дни щедрот,
И над главой моей — мечу законов
«Пощада, милость!» — изречет!»

С. Ильинское, 1834 г. Июля 8-го.

Письмо с переписанными стихами тут же отправлено было к графу Бенкендорфу.

Но и эта последняя попытка спасти поэта-страдальца не увенчалась успехом. «Видно, так на роду ему было написано».

Стояли тогда у нас дни ясные, чудные. Подобного лета не припомню. Утром всякий из нас занимался делом, но с обеда до полуночи мы всей семьей, а с нами и Александр Иванович, гуляли по садам и по прелестным окрестностям Ильинского. Во время прогулок братья ни на шаг не отходили от Полежаева. Мы все жадно прислушивались к его рассказам. Он говорил о Кавказе, о набегах чеченцев, о своих походах, о том, как он с товарищами-солдатами на плечах перетаскивал через горы тяжелые орудия, пушки, а между тем направленные на них из-за скал меткие пули черкесов наверняка выбирали свои жертвы. Он рассказывал просто, без хвастовства, без напыщенности, не бил на эффект, и каждое слово дышало правдой и умом. А между строк сколько слышалось невысказанных страданий, лишений, горя...

Это было в 1834-м году. Для нас, юношей и детей, все это было тогда ново, исходя из уст очевидца; мудрено ли, что мы увлекались этими рассказами?

Иногда, в светлые лунные ночи, мы все катались на лодке по Москва-реке. Братья и Александр Иванович попеременно гребли, я сидела на руле, сестра меньшая и гувернантка помещались на скамейках. Раз посреди реки, на глубоком месте, я увидела прелестную белую кувшинку и вскрикнула от восторга. Полежаев перегнулся весь через борт, лодка сильно покачнулась в его сторону. У меня замерло сердце. Но он вскоре поднялся и подал мне сорванную кувшинку с плавучим ее зеленым листом. Этот засушенный лист и теперь покоится в заветной старой тетради.

Родные от меня не скрывали из бурной жизни Полежаева то, что́ при строгом нашем воспитании, можно было сказать девушке моих лет, т. е. знала я лишь одну половину несчастных наклонностей, испортивших его жизнь и преждевременно сведших его в могилу. Но и одной половины было достаточно, чтоб убедить меня, что общая будущность для нас немыслима. Семья, общество, сам рассудок непреодолимой преградой разделяли нас. На что́ мне было будущее? Я полной жизнью жила настоящим.

«Думы девичьи, заветные,
Кто вас может разгадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать».

Эта идиллия продолжалась две недели. Пятнадцать только чистых, ясных дней во всей жизни многострадальца-поэта!

Полежаев был отпущен на срок, за порукою моего отца. Срок настал. Отец, привыкший с малых лет к военной дисциплине, был неумолим. Ехать надо. При прощании, когда мы всей семьей провожали Полежаева, он подал мне на память ту книжку Гюго, из которой всегда делал переводы. В ней был сложенный листок бумаги; и та и другое хранится у меня до сих пор. Вот эти стихи, они нигде не напечатаны.

«Зачем хотите вы лишить
Меня единственной отрады
Душой и сердцем вашим быть
Без незаслуженной награды?
Вы наградили всем меня,
Улыбкой, лаской и приветом,
И если я ничто пред целым светом,
То с этих пор — я до́рог для себя.
Я не забуду вас в глуши далекой,
Я не забуду вас в мятежной суете,
Где б ни был я, везде с тоской глубокой
Я буду помнить вас, везде!»

Первое четверостишие относится к тому, что мы, дети, зная стесненные обстоятельства уезжающего, сделали складчину из наших маленьких сбережений и дали их отцу, чтоб он присоединил их к своей лепте, но с тем, чтоб Полежаев не знал, от кого именно идет эта помощь. Но, видно, отец проговорился. Полежаев хотя положительно терпел нищету, но был до крайности горд и деликатен в денежных делах. Отец долго не мог его уломать и уговорить принять от него пособие. Честность его доходила до щепетильности. Он тогда только согласился что-либо принять от отца моего, когда сам полюбил его как друга. Но, несмотря на их близость, никогда Полежаев не говорил ему о своих родных. Часто отец заговаривал с ним на эту тему, но он всегда отвечал уклончиво и переменял разговор. Мы не знали, ни кто он, ни какого он происхождения. Прочитав «Очерк» Д. Д. Рябинина, я поняла причину молчания Полежаева. Замечательно то, что человек, так явно всю жизнь шедший вразрез с законами общества, так упорно ими пренебрегавший, стыдился своего происхождения. В этом, по-видимому, противоречии чувствуется врожденное, свыше внушенное желание видеть безукоризненными тех, уважение к кому повелевается и природою и божественною заповедью. Почему же он родителей укорял в том, что́ сам не только считал позволительным, но даже воспевал в продолжение почти всей своей жизни? Нет, видно, истина одна и неизменна, и как бы ни пал высокий дух, но он бессознательно стыдится порока и в глубине своей сознает величие того, что́ мы называем добродетелью.

Под портретом, мною рисованном, Александр Иванович написал следующее шестистишие:

«Судьба меня в младенчестве убила,
Не знал я жизни *тридцать лет,*
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет».

Ни Полежаева, ни Ильинского я больше не видала. Несколько дней после его отъезда, наступила непогода; мы возвратились в душную Москву, к прозе обыденной жизни; хуже того: мы узнали, что неисправимый грешник не возвратился в полк свой, а пропал, поглощенный, вероятно, трущобами столицы. Впрочем,— это одно предположение: как и куда он исчез, никогда я не узнала. Но на нашу квартиру явился присланный полковником фельдфебель, чтоб отыскать беглеца. Этому солдату мой старший брат показал рисованный мной портрет Александра Ивановича — он его тотчас узнал.

Отец мой очень рассердился, узнав, что Полежаев поставил его в такое щекотливое положение: он взял его с собой без отпуска, за своей порукой, на честное

слово... Что́ скажет он полковнику? Не знаю, как это дело уладилось.

Недолго после этого грустного заключения наших ясных дней, старший брат сообщил мне по секрету, что слышал от своего учителя студента, что Полежаев написал новое стихотворение «Черные глаза» и что оно написано для меня. Я, конечно, об этом молчала. Не знаю, каким образом это сообщение дошло до отца, который страшно рассердился на брата и при мне жестоко стал его распекать:

— Как смел ты подобный вздор выдумать? «Черные глаза» *не* написаны и *не* могли быть написаны на твою сестру! Ces vers sont une horreur!» * — прибавил он с негодованием.

Брат смолчал, но когда мы остались с глазу на глаз, он мне вновь подтвердил, что знает *наверное*, что «Черные глаза» написаны для меня и что учитель говорит, что стихи *очень* хороши.

«Учитель говорит: стихи хороши,— подумала я, а отец о них отзывается que c'est une horreur! Что бы это значило?» Но так и осталась я при своем недоумении.

Вероятно, и учителю досталась головомойка, и позаботились о том, чтоб horreur не попалась мне на глаза. Это несчастное стихотворение, которое я прочла несколько лет спустя, уже в печати, по всей вероятности, причина тому, что с тех пор дом наш навеки был закрыт для бедного грешника. Отец мой, вероятно, не прерывал с ним сношений; но в моем присутствии никогда о нем не упоминали. Старшего брата увезли в Петербург в юнкерскую школу; не у кого было мне и узнать, что́ сталось с несчастным поэтом. У родных я боялась спросить, чтоб не услыхать неприятного о нем отзыва, что́ было бы для меня хуже самой неизвестности.

Что же дальше? спросите вы, может быть. Гениальное перо Пушкина метко и верно очертило участь девушек тридцатых годов:

«Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...»

С тех пор прошло полвека, участь эта во многом изменилась к лучшему. Полно, к лучшему ли?

В ответ на этот вопрос можно написать несколько томов. Здесь оно не у места.

Что же вышло из этой идиллии, из этого краткого, но полного созвучия двух душ, одной отжившей, другой детской, пробуждающейся к жизни? По словам Белинского, у поэта оно выразилось в двух-трех стихотворениях, исполненных силы и таланта. Это — для читающей публики. Но то, что страдало и томилось внутри человека, то осталось навеки с ним погребено.

---

* Эти стихи ужасны.

В пробуждавшейся душе это созвучие породило стремление ко всему истинно прекрасному и непреодолимое отвращение от всего пошлого, в каком бы виде оно ни появилось.

Бессмертный Мицкевич сказал, что не даром прожил тот,

«Kto poznat Boga wielkego na niebie
I kohat męza wielkego na ziémi» *.

К. Н. Макаров

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ А. И. ПОЛЕЖАЕВЕ

Мой отец, известный лексикограф, Н. П. Макаров был очень дружен с Владимиром Ивановичем Л-м, артиллерийским офицером, умершим в 1852 году.

Находясь в 1836 году по делам в Москве, Л. познакомился там с талантливым поэтом-страдальцем А. И. Полежаевым, который в это время уже представлял из себя живой труп, ежеминутно ожидавший окончательного разрушения. Встретив любящую девушку, блеснувшую ярким метеором в его безотрадной жизни, поэт естественно должен был или обновиться и почувствовать себя бодрым и переродившимся под влиянием любви, или не вынести этого чувства и упасть еще ниже, дойдя до исходной точки человеческих страданий. Но натура его была уже так сломана и убита жизнью, что он не вынес светлого и сильного проблеска, потрясшего его до глубины души,— и погиб.

В эту именно эпоху его жизни с ним познакомился Л.

Последним в то же время были написаны «Воспоминания» о поэте, подаренные в сороковых годах моему отцу и случайно уничтоженные в 1886 году моими малолетними племянниками.

Под свежим еще впечатлением, я тогда уже набросал отдельные эпизоды, наиболее запечатлевшиеся в моей памяти, затем соединил их в одно целое, и таким образом возникла настоящая статья.

Мне неизвестно, где встретился Л. с Полежаевым, но знаю, что поэт искренне привязался к своему новому знакомому и не раз ночевал у него, отпрашиваясь у начальства. По словам Л., Полежаев был брюнет, невысокого роста, довольно широкоплечий, с некрасивым, но

* Кто познал бога великого на небе
И любил человека великого на земле.

выразительным и оригинальным лицом; у него был правильный и довольно длинный нос; прическа более или менее верно переданная на его литографированных портретах, нависшие усы, закрывавшие почти весь рот и круглый мясистый подбородок. Самой выразительной чертой его физиономии были, конечно, большие черные глаза, светившиеся умом, энергией, благородством и какой-то высшей духовной силой.

Помню рассказ, что когда на Кавказе ближайший начальник Полежаева стал делать ему за какую-то провинность выговор,— Полежаев взглянул начальнику прямо в глаза своим искрометным взглядом, и тот остановился на полуслове, смешался и поспешил уйти.

Руки Полежаева слегка дрожали, что́ вместе с несколько припухшим лицом и преждевременной сединой в волосах показывало пристрастие поэта к спиртным напиткам.

С людьми малознакомыми Полежаев был неразговорчив, словно дичился, но сойдясь с кем-нибудь ближе, он, особенно когда находился в духе, много говорил, прекрасно читал свои и чужие стихи и увлекательно передавал эпизоды из своей кавказской боевой жизни. Рассказывая иногда анекдоты веселого и даже пикантного характера, Полежаев был на самом деле далеко не весел.

Несмотря на все старания, ему было трудно скрыть затаенную, постоянно угнетавшую его тоску; нередко в середине самого оживленного разговора на лицо его вдруг набегала туча, он хмурился, задумывался и потом, как бы спохватившись, напускал на себя неестественную развязную веселость. Эта напускная веселость действовала очень тяжело на Л., потому что он чувствовал под ней горькие слезы.

— К чему киснуть и ходить с постной физиономией,— этим горю не поможешь,— говорил не раз поэт Л-у.

В силу такого рассуждения он не выставлял на показ своих ощущений. При том же был слишком горд, чтобы кому-нибудь, даже другу, поверить свои душевные скорби. О своем происхождении он никогда никому не говорил, и расспросы об этом его раздражали; это, вообще, было его больным местом и, вероятно, причиною многих страданий. Ко всему окружающему поэт относился крайне апатично; был очень рассеян, неряшлив и постоянно ходил в разорванной одежде. Несмотря на свою не только бедность, но в полном смысле слова нищету, Полежаев не дорожил деньгами, и если кто-нибудь помогал ему (а это случалось не часто), он или отдавал деньги таким же беднякам, каким был сам, или же просто пропивал их. Напиваясь пьян, он делался молчалив, обидчив, раздражителен и проклинал весь свет; все это обыкновенно кончалось двенадцатичасовым сном, извинениями и расспросами: «Не сказал ли я что-нибудь непристойного? — не наговорил ли вздора?..»

Однажды Полежаев пришел к Л. в самом возбужден-

ном состоянии; последний подумал, что поэт пьян, но оказалось совсем другое.

— Что с вами, Александр Иванович? — спрашивал Л.

— Генерал распек,— дрожащим голосом отвечает Полежаев.

— Какой генерал?

— NN (фамилию не помню, это был постоянно пьяный бурбон Аракчеевской школы).

— За что́?

— За то, что пуговица у мундира оторвалась,— задыхаясь, ответил Полежаев, хотел еще что-то сказать, но не выдержал, остановился на полуслове и, схватившись за голову, зарыдал. Л. был поражен. Такой порыв совершенно не согласовался с сдержанным и всегда замкнутым характером поэта; но объяснить его не трудно. Испытав с двадцатилетнего возраста всю горечь презрительных отношений к нему, как преступнику, отверженцу общества, поэт, конечно, в глубине души таил обиду и чувство мести к своим гонителям. Это чувство слишком долго сдерживалось и должно было когда-нибудь прорваться наружу. Сосуд наполнялся более и более и ожидал только легкого толчка, чтобы расплескаться. Толчок явился в брани пьяного генерала, который, кроме того, коснулся самого больного Полежаеву места: зная об его происхождении, он, между прочим, укорил его: «Как, мол, сын дворянина мог дойти до такого низкого состояния...»

С 1836 года поэт начал часто хворать. Он не мог громко говорить, и каждый оживленный разговор вызывал сильный мокротный кашель. Чахотка уже делала свое дело.

— Скоро помирать буду, чувствую я это,— говорил он Л-цу.

— А зачем вы так много вина пьете; ведь это яд для вас.

— Что об этом рассуждать,— грустно отвечал Полежаев, махнув рукой,— от смерти не уйдешь, да я и не боюсь ее, пусть приходит, а не пить — не жить! Выпьешь стакан — забудешься, ведь я живу-то — не на лаврах почиваю; да и не думаю, чтобы водка мне вредила: в прежнее время я ею от всех болезней лечился. После полбутылки пропотеешь хорошенько и всю боль как рукой снимет — хоть танцуй.

Что было ему отвечать на эти слова?

Перед отъездом своим из Москвы Л. нарисовал с Полежаева два портрета в профиль, один карандашом, а другой акварелью; последний был подарен моему отцу вместе с рукописью и теперь хранится у меня. Он сделан очень грубо и неумело, но, по словам Л. и поэта Л. Якубовича, схож с оригиналом... Прощаясь с Полежаевым, Л. во второй раз оказал ему денежную помощь и потом некоторое время переписывался с ним. Во всех письмах поэта говорилось только об одном — об ожидании скорой смерти.

В. Г. Белинский

<СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЕЖАЕВА>

Часы выздоровления. Стихотворения А. Полежаева. Москва. 1842.
Стихотворения А. Полежаева. Москва. 1832.
Кальян. Стихотворения Александра Полежаева. Москва. 1838. (Издание третье.)
Арфа. Стихотворения Александра Полежаева. Москва. 1838.

«И я жил, но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла,
Мир души погребла
В шумной воле любовь...
Не воскреснет она...» [1]

А. Полежаев

Первая из книг, заглавие которых выставлено в начале этой статьи, заключает в себе оборыш стихотворений талантливого Полежаева и не заслуживает никакого внимания. Это явно или спекуляция на имя, или следствие необдуманного дружеского усердия к покойному автору. Тем не менее мы рады появлению этой книжки, потому что она дает нам удобный случай поговорить о Полежаеве, как о поэте вообще, и сделать критическую оценку всей его поэтической деятельности.

Слава дается людям гением и не зависит ни от каких случайных отношений. Против нее бессильны предубеждения, зависть и злоба. Они даже служат ей, стараясь уничтожать ее,— и если им удается иногда помрачить ее лучезарный блеск, то не более, как на минуту, и для того только, чтоб она явилась еще лучезарнее: так солнце является в бо́льшем блеске, когда пройдут мимо застилавшие его облака, а они не могут же не проходить мимо его! Время всегда на стороне «славы», и, опираясь на него, она торжествует даже над самим временем. Но слава дается одним гениям,— и как между гением и обыкновенным человеком есть множество посредствующих ступеней и звеньев, называемых «талантами» и «дарованиями», так и между «славою» и «неизвестностью» есть посредствующие величины славы, называемые

большею или меньшею «известностью». Вот эти-то таланты и дарования, эти-то известности более или менее и испытывают на себе влияние случайных отношений и временных обстоятельств, ничтожных и бессильных для гения и славы. Нельзя провести резкой черты, отделяющей гения от таланта, ибо есть таланты, близкие к гению, и вообще подобное разграничение окончательно совершается временем и веками. В этом вопросе для нас важно только то, что чем выше, сильнее, многостороннее, глубже, словом, огромнее талант,— тем больше его известность приближается к славе, тем менее могут вредить ему случайные отношения; и наоборот: чем меньше и одностороннее талант или низшая его степень — дарование, тем больше зависит оно не от самого себя, а от внешних обстоятельств, влияние которых особенно сильно обнаруживается на него в самое его возникновение и развитие. Часто случается, что совершенно пустое и ничтожное дарование пользуется в свое время громкою известностью, похожею на славу; а истинный и замечательный талант проходит, незамеченный толпою при жизни, забытый ею по смерти. И когда поток времени поглотит все случайные известности и эфемерные славы, тщетно стал кто-нибудь воскрешать непризнанную славу вотще промелькнувшего таланта: его вновь заслоняют вновь возникшие известности, его слава, его творения принадлежат исключительно его времени, которое прошло для него и бесплодно, и безвозвратно. Потомство согласится, что он был выше тех, которые заслоняли его, но и на нем не захочет остановить своего внимания так же, как и на них. Впрочем, нельзя сделать общего правила из такого случая, потому именно, что он случай. Часто бывает и наоборот: часто пальма первенства достойно дается современниками первому по достоинству; но в том-то и состоит зависимость таланта от случайности, что он так же может быть признан современниками, как и не признан ими. Только мировые гении поставлены вне закона этой случайности, ибо не могут не быть ни непризнанными, ни забытыми.

Конечно, не стоит и хлопотать о таланте, который умер, не живя, и которого имени нельзя воззвать к жизни. Но этому могут противоречить два обстоятельства. Во-первых, истина и справедливость сами себе цель; для них иногда может быть важен предмет более по отношению к ним самим, чем к себе самому. Во-вторых, если дело идет о таком таланте, который, будучи не признан при жизни, не может возвратить должного себе после своей смерти, не столько по недостатку в силе, сколько по неразвитости, ложному направлению, или по причинам, скрывавшимся в самой эпохе, в которую он явился: тогда критике стоит и очень стоит заняться им как предметом замечательным и поучительным. К таким-то талантам принадлежит Полежаев, и потому-то мы давно желали найти случай поговорить о нем. Теперь много имен в нашей литературе, пользующихся только прошед-

шею своею известностию и на этом зыбком основании тщетно требующих себе внимания равнодушной к ним современности: и однако ж все они некогда заслоняли собой Полежаева, которого и теперь не видно из-за их поблекшей известности. И как им было не заслонить его? Их стихотворения печатались в Петербурге, издавались так красиво, сами они писали друг к другу послания, участвовали в приятельских журналах, и некоторых из них сам Пушкин печатно величал своими сподвижниками. Стихи Полежаева ходили по рукам в тетрадках, журналисты печатали их без спросу у автора, который был далеко; наконец, они и издавались, или за его отсутствием, или без его ведома, на плохой бумаге, неопрятно и грубо, без разбора и без выбора — хорошее вместе с посредственным, прекрасное с дурным... Еще в Москве Полежаев пользовался громкою известностию; там и доселе не забыт он; но Петербург вскользь слышит о существовании его как поэта: теперь же, когда Петербург, давно уже центр администрации, день ото дня более и более делается центром умственной и всякой другой деятельности России,— теперь и литературная известность в России, даже в самой Москве, возможна только через Петербург.

Часто случается встретить в критиках и рецензиях мнение, что такой-то поэт мог бы приобрести себе прочную славу, но погубил свое дарование, увлекшись звоном рифмы, вычурностию в выражениях и т. п. Справедливо ли такое мнение? — Может быть, и справедливо, только крайне односторонне, по нашему мнению. Почему Шиллер — великий поэт?— Потому что получил *от природы* великий гений. А почему Шиллер не погубил своего великого гения, почему он не увлекся звоном рифмы, вычурностию выражения? — Потому что он получил *от природы* великую душу, которая презирала мелочами и стремилась к одному истинному, великому и вечному. Видите ли: здесь причина прежде всего в натуре поэта, которая уже по самой сущности своей не допустила бы его сбиться с пути. Но, скажут нам, поэзия Шиллера велика не одною силою художнического гения, не одним пламенем любви к человечеству и к истине, но и мирообъемлющим, вечно юным и вечно развивающимся содержанием, которого только возможность лежала в его натуре, но которое усвоено, развито и обогащено было им посредством учения и неослабного стремления за современными интересами. Так; но опять-таки начало всего в натуре поэта, душа которого вечно сгорала жаждою знания и сердце которого вечно билось только для идеи. Потом, здесь причина еще и в духе, жизни и развитии, словом — истории народа, среди которого родился поэт, и, наконец, в историческом моменте, в котором застал поэт современное ему человечество. Это уж не его заслуга — это дело судьбы, велевшей ему родиться германцем, а не китайцем. Природа везде природа, человек везде человек: и в Китае может родиться

поэт с организациею и духом Шиллера, но Шиллером никогда не будет, останется китайцем: он выразит своими творениями бедное содержание китайской жизни и в уродливых китайских формах; китайцы будут им восхищаться, но европеец не поймет его ни в подлиннике, ни в лучшем переводе. Таково влияние национальности на дух и достоинство творений поэта: она, эта национальность, делает его и великим, и ничтожным. Но если бы этот предположенный нами китайский Шиллер и выдвинулся из своего народа, усвоив себе европейскую образованность и европейское знание, и тогда бы в своих творениях был он только любопытным фактом феноменологии духа человеческого, а не великим явлением в сфере творчества, ибо великий поэт может возникнуть только на национальной почве. Содержание для поэзии дает поэту жизнь, а не наука: наука только обогащает и развивает это содержание. Не из книг почерпнул Шиллер свою ненависть к униженному человеческому достоинству в современном ему обществе: он сам, еще дитятей и юношею, перестрадал болезнями общества и перенес на себе тяжкое влияние его устарелых форм; наука только познакомила его с причинами настоящего, скрывавшимися в веках, уяснила вопрос и дала сознательное направление энергической деятельности его могучего духа. Равным образом не наукою постиг он всё великое и истинное в средних веках: наука только уяснила ему этот вопрос, а самый вопрос возбудила в нем жизнь: ибо современная ему цивилизация была результатом средних веков, с их добром и злом. Более ощутительно влияние науки на Шиллера в его сочувствии с древним миром; но и тут корень этого сочувствия скрывался в истории его отечества, связанной с историей Рима, а через нее и с историею Греции. Предполагаемый нами китайский гений мог бы усвоить себе только извне европейскую образованность и просвещение: вырастая без почвы, она не принесла бы и плодов; непонятый соотечественниками, он не был бы оценен и европейцами. Другое дело, если б, родившись в Европе или перевезенный туда младенцем, он вырос и развился в духе и жизни той страны; но тогда бы он мог быть только поэтом этой страны, а отнюдь не китайским поэтом.

Итак, два обстоятельства творят великих поэтов — натура и история. Вследствие этого и величайший по своей натуре и поэтическим силам поэт не может достигнуть в искусстве назначенной ему высоты, если он родился среди народа, которого национальность или лишена мирового значения, или еще не развилась до него; в таком случае он может быть ниже не только равных ему, но и низшей натуры и меньшими творческими силами одаренных поэтов, которых гений воспитался на почве национальности, имеющей мировое значение. При оценке степени достоинства того или другого поэта нельзя не брать в соображение этого обстоятельства, если

хотите быть справедливыми и многосторонними в своем приговоре.

Все сказанное нами относится только к тем великим поэтам, которые столько же принадлежат человечеству, сколько и своему отечеству, и к которым поэтому так идет эпитет «мировых». Нельзя не быть великим поэтом, будучи мировым поэтом; но можно быть великим поэтом, не будучи мировым поэтом: эта разница не в натуре поэта, а в историческом значении его отечества. Но где жизнь, там и поэзия, а следовательно, и содержание для поэзии. Только содержание может быть истинным мерилом всякого поэта — и гениального, и просто даровитого. Следовательно, прежде чем говорить: «такой-то поэт мог бы быть великим, но погубил свое дарование»,— должно, на основании содержания его поэзии, показать сперва: действительно ли его талант был велик, а потом: столько ли он был велик, чтобы, опираясь на своей силе, не мог сбиться с настоящего пути и утратить свою силу. А то говорят: «г-н N. N. обещал много, но увлекся звоном рифмы — и из него не вышло ничего!» Но, милостивые государи! на чем же вы основываете, что он много обещал, если такие пустяки, как звон рифмы или вычурность в выражении, могли сбить его с толку? Не все ли это равно, что сказать: «такой-то господин подавал блестящие надежды быть великим полководцем; но, к сожалению, увлекшись врожденною трусостию, оставил военное поприще и решился определиться в становые приставы»? Если бы в вас было побольше эстетического такта, то — уверяем вас — вы в первых же произведениях вашей мнимо великой будущей надежды увидели бы только звон рифм и поняли бы, что больше звонаря из него ничего никогда не выйдет! Странно было бы назвать Лермонтова великим поэтом за две написанные им книжки; но о нем все говорят, как о великом поэте, ибо в этих двух книжках он дал залог своего будущего великого развития,— и никому, кроме людей, которые в искусстве ничего не смыслят,— никому не придет в голову сказать, что Лермонтов мог бы со временем погубить свой талант, увлекшись звоном рифмы или вычурностию фразы. Такие таланты обессиливают себя не подобными пустяками, а разве тем, что, отрываясь от современных интересов, предаются созерцательному отчуждению от живой действительности и засыпают в поэтическом аскетизме или живут жизнию прошедшего, холодные к современному, которое в свою очередь равнодушно к их запоздалым интересам.

Как бы то ни было, но если и для великих талантов возможно *свое* падение, тем более возможно оно для дарований второстепенных. Но и в отношении к ним мы все-таки разумеем не «рифменный звон» и не «вычурную фразу», которыми способны увлекаться только дарования внешние, лишенные внутренней самостоятельной силы, чуждые всякого содержания. Гладкий и звучный стих, вне содержания, обнаруживает только способ-

ность к форме поэтической: в отношении к истинной поэзии он то же самое, что реторика в отношении к истинному красноречию. Чтоб стих был поэтический, не только мало гладкости и звучности, но недостаточно и одного чувства: нужна мысль, которая и составляет истинное содержание всякой поэзии. Эта мысль дает себя чувствовать в поэзии, как известный взгляд на известную сторону жизни, как начало (principe), которым вдохновляются и живут творения поэта. Каждый век и каждое время питает свою думу о жизни, стремится к своим целям и источником всех своих побуждений имеет единое начало,— и чем поэт выше, тем более выражается в нем эта дума его времени. Всякое истинное содержание отличается жизненностию, вследствие которой оно движется вперед, развивается, а не стоит, оцепенелое, на одном месте или, подобно попугаю, не повторяет вечно одного и того же, и притом одними и теми же словами. Вот почему истинные поэты постепенно, с течением времени, становятся глубже и совершеннее в своих творениях; и вот почему творения истинных поэтов располагаются умными издателями не по родам, а в хронологическом порядке, сообразно с временем появления на свет каждого из них. А откуда же возьмется это движение, эта постепенность совершенствования, если поэт барабанит своими гладкими и звучными стихами вечно одно и то же,— например: студентские попойки, звон рюмок, хлопанье пробок, деву-красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто? Тут может быть услуга только языку и версификации, а отнюдь не поэзии. И не диво, если такой стихотворец, ошибочно провозглашенный поэтом, скоро выпишется, всем надоест старыми погудками на новый лад или новыми погудками на старый лад, утратит даже свой бойкий, звонкий и гладкий стих и, мертвый для всяких современных, живых интересов, по привычке будет от времени до времени, плохими стихами, воспевать в приятельских журналах то рейнвейн, который *нежит, так сказать, глубокомысленно,* то *малагу,* которую пьют, когда уже ничего другого желудок не выносит?.. Важное дело — знать нам, какое вино пьет господин стихотворец... После такой фамильярности с доброю публикою ему остается только уведомлять ее, разумеется, в стихах, в каком погребе берет он свое вино. Оно бы и лучше: тогда стихи его имели цену и достоинство хоть прейскурантов и потому хоть на что-нибудь сгодились бы... И после этого еще говорят, что он много обещал, но жаль-де, что, увлекшись звоном рифмы, погубил свой талант!.. Да в рифменном-то звоне и заключался весь его талант, почтенные господа Аристархи!..

Но не лучше его и те рифмотворцы, у которых, кажется, что ни слово, то мысль, а как вглядишься, так что ни слово — то реторическая завитушка или дикое сближение несближаемых предметов. Один из таких господ, пожалуй, так опишет вам дружбу: «У меня,— ска-

жет он,— есть в сердце рана; она вечно истекает кровью; ее нанес мне друг нежною рукою, и сквозь ту рану он смотрит в мое сердце», и тому подобное. Другой, пожалуй, пропищит: «Что в море купаться, то-де читать Данта: его стихи упруги и полны, как моря упругие волны». Третий чудак, пожалуй, соблазнясь этим образцовым примером, затянет: «Что макароны есть с пармезаном — то Петрарку читать: стихи его сладко скользят в душу, как эти обмасленные, круглые и длинные белые нити скользят в горло». Четвертый посоветует юношам не «призывать вдохновения на *высь чела*, венчанного *звездой»*, или станет воспевать *грудь*, которая *высоко взметалась беспредметною любовию; любовь*, которая *гнездится в ущелиях сердец; деву*, которой *стан поэт вносил в вихрь кружения на огненной ладони; струи времени, возрастившие мох забвения на развалинах любви; гибкий стан*, в котором *поэт утопляет горящую ладонь; искру души*, которая *прихотливо подлетела к паре черненьких глаз и умильно посмотрела в окна своей храмины; деву*, которая, *сидя на жеребце, гордится усестом*,— и тому подобную дикую галиматью, которую иногда и на самом деле выдают нам за полную мыслей поэзию и которую основательная критика должна преследовать огнем и мечом, как преступление против здравого смысла, языка, литературы и искусства... Нет, не такова поэзия, полная мысли: она проста, естественна, неизысканна, как творения природы, выразившие собою мысль творца... О таких рифмачах, если только бывают на свете такие рифмачи, нельзя говорить: «они многое обещали, а мало сделали»; но должно говорить «они ничего не обещали хорошего и много написали вздорного».

Есть поэты, в которых нельзя не признать ни чувства, ни вдохновения, ни поэтической формы, но о которых, по первым же их произведениям, можно безошибочно сказать, что они недалеко пойдут и скоро выпишутся. Это те односторонние дарования, которые пробуждаются от какой-нибудь случайности — несчастия, утраты, и, открыв в душе своей затаенный родник грустной поэзии, скоро исчерпывают его весь, настроив свою лиру на один тон; а потом, когда неглубокий родник истощится и пересохнет, уже по привычке к рифмам, продолжают вяло и бездушно выговаривать то, что некогда пелось у них, по крайней мере, искренно и тепло... Потом это те *эфемерные* души, которые бывают юны только во время юности; пережив юность, они тотчас же отцветают и скоро мирятся с прозою жизни. И слава им, если они, из поэтов сделавшись агрономами, чиновниками, спекулянтами, совсем забывают свою лиру для счетов, аршина или деловых бумаг; и позор им, если они вздумают обманывать и себя и других рифмованною стукотнею бесчувственных чувств и безмысленных мыслей!.. Юность дается человеку только раз в жизни, и в юности каждый из них доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохра-

нит юность до старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, окаменеть —

«В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, маленьких измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердной суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья».

Да, возможное совершенство каждого человека, то, к чему должен и может стремиться каждый человек, состоит именно в том, чтоб, и доживши до седых волос, даже у края могилы, не пережить своей юности... Но увы! сколь немногие достигают этого и сколь многие стареются, когда еще не миновалась и юность их! Эта разница происходит при многих причинах, прежде всего от разницы в натурах, с которыми родятся люди. Это же и главная причина, отчего один поэт всю жизнь сохраняет свое вдохновение, а другой теряет его после десятка хороших, впрочем, стихотворений. И напрасно о таких поэтах говорят: «как много обещал он и как мало выполнил!» О таких, напротив, чаще можно говорить: «Он обещал еще меньше, нежели сколько выполнил»...

«Но,— говорят,— если бы он писал так, а не этак, воспевал то, а не это,— он сохранил бы свой талант». Нет, милостивые государи, тому нет спасения, кто в самом себе, в слабости своей натуры, носит своего врага...— «Но если бы он слушался критики?» — Поэтов творит природа и жизнь, а не критика,— и для них поучительнее критика на чужие сочинения, чем на их собственные...— «Однако ж отчего же нибудь он сбился же?» — Для таких талантов на каждом шагу жизни стоят силки, и от чего бы то ни было, но им надо сбиться... В отношении к ним даже не интересно и исследовать причины падения.

Гораздо поучительнее падение таких поэтов, которые не так сильны, чтоб не бояться падения, и не так слабы, чтоб выдохнуться незаметно и испариться в болотной атмосфере житейской повседневности; но которые или достигают, при благоприятных обстоятельствах, той степени развития, что их творения делаются капитальным, хотя и второстепенным сокровищем отечественной

литературы; или, при неблагоприятстве судьбы, пролетают по пути жизни блудящею кометою, являя своею жизнию и своими произведениями зрелище печальное и поучительное. Таков был талант Полежаева...

Стихотворения Полежаева начали являться в печати с 1826 года; но они были знакомы Москве еще прежде, равно как и имя их автора. Известность Полежаева была двоякая и в обоих случаях печальная: поэзия его тесно связана с его жизнию, а жизнь его представляла грустное зрелище сильной натуры, побежденной дикою необузданностью страстей, которые, совратив его талант с истинного направления, не дали ему ни развиться, ни созреть. И потому к своей поэтической известности, не для всех основательной, он присовокупил другую известность, которая была проклятием всей его жизни, причиною ранней утраты таланта и преждевременной смерти... Это была жизнь буйного безумия, способного возбуждать к себе и ужас и сострадание: Полежаев не был жертвою судьбы и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели. Полежаева уже нет, и потому о нем можно говорить прямо и открыто: подобная откровенность никого не оскорбит, но многим будет поучительна. Он был явлением общественным, историческим,— и, говоря о нем, мы говорим не о частном человеке. К тому же в нашем суждении о Полежаеве мы будем основываться не на каких-нибудь посторонних и сомнительных свидетельствах, а на его собственных поэтических признаниях: ибо все лучшие его произведения суть не иное что, как поэтическая исповедь его безумной, страдальческой жизни. Мы пишем не для того, чтоб осуждать, а для того, чтоб поучать и поучаться из такого разительного примера: могила мирит все, и над нею должны раздаваться не проклятия и осуждения, а слова примирения и благословения...

Слишком рано поняв безотчетным чувством, что толпа жила и держалась правилами, которых смысла сама не понимала, но к которым равнодушно привыкла, Полежаев, подобно многим людям того времени, не подумал, что он мог и должен был уволить себя только от понятий и нравственности толпы, а не от всяких понятий и всякой нравственности. Освобождение от предрассудков он счел освобождением от всякой разумности и начал обожать эту буйную свободу. Свобода была его любимым словом, его любимою рифмою,— и только в минуты душевной муки понимал он, что то была не свобода, а своеволие, и что наиболее свободный человек есть в то же время и наиболее подчиненный человек. Избыток сил пламенной натуры заставил его обожать другого, еще более страшного идола — чувственность. Для человека необходим период идеальных, восторженных стремлений и порываний: перешед через него, он может отрешиться от всего мечтательного и фантастического, но уже не может остаться животным даже в своих чувственных увлечениях, которые у него будут смяг-

чены и облагорожены чувством красоты и примут характер эстетический. И Полежаев пережил этот период идеального чувства, но уже слишком не вовремя, как мы увидим. Сначала он, который не имел права сказать о себе, что не знал мятежного волнения страстей,— он имел право сказать:

«Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире.
Одинок,
Как челнок,
Уз любви
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал!» [2]

Он имел право, не клевеща на самого себя для красного словца, сказать красавице, не сводившей с него задумчивых очей и припадавшей к нему на грудь в порывах забвенья:

«Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воскресить
Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить,
Не для меня очарованья!
. . . .
Я рано сорвал жизни цвет;
. . . .
И прежних чувств и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы — красота
И девы пламенные взоры;
Но сердце мучит простота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!» [3]

И потому не удивительно, если не вовремя и не в пору явившееся мгновение было для поэта не вестником радости и блаженства, а вестником гибели всех надежд на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновения не гимн торжества, а вот эту страшную, похоронную песнь самому себе:

«О, грустно мне! Вся жизнь моя — гроза!
Наскучил я обителью земною!
Зачем же вы горите предо мною,
Как райские лучи пред сатаною,
Вы — черные, волшебные глаза?

Увы! давно, печален, равнодушен,
Я привыкал к лихой моей судьбе:
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен!

Старинный раб мучительных страстей,
Я испытал их бремя роковое —
И буйный дух, и сердце огневое —
Давно смирил в обманчивом покое,
Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной,
Я не страдал, как робкая жена;
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна
Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я думою суровой
И свисту бурь, под молнией багровой,
Внимать, как муж, отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал...

И погрузясь в преступные сомненья
О цели бытия,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход
От дерзких дум до света провиденья;
Я избегал невинного творенья,
Которое б могло без сожаленья
Моей душе дать выспренный полет; —

И вдруг оно, как ангел благодатный...
О, нет! — как дух карающий и злой,—
Светлее дня явилось предо мной,
С улыбкой роз, пылающих весной,
На мураве долины ароматной!..

Явилось... всё исчезло для меня:
Я позабыл, в мучительной невзгоде,
Мою любовь и ненависть к природе,
Безумный пыл к утраченной свободе,
И всё, чем жил, дышал доселе я...

В ее очах, алмазных и приветных,
Увидел я, с невольным торжеством,
Земной эдем!.. Как будто существом
Других миров — как будто божеством
Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай, и дева-красота
Лила мне в грудь невыразимым взором
Невинную любовь, с таинственным укором,
И пела в ней душа небесным хором:
«Люби меня! — И в очи и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,
Как мотылек лилею поутру!
Люби меня, как милую сестру,—
И снова я и к небу, и к добру
Направлю твой рассудок омертвелый!..» [4]»

И что ж? Совершилось ли возрождение — этот великий акт любви? и святая власть женственного существа победила ли ожесточенную мужскую твердость? — Нет! Поэт не воскрес, а только пошевелился в гробе своего отчаяния: солнечный луч поздно упал на поблекший цвет его души... Остальная половина этого стихотворения, или, лучше сказать, этой поэтической исповеди, отличается тою хаотическою неопределенностью, в какую погрузило душу поэта его полувозрождение: и как ничего положительного не могло выйти из нового состояния души поэта, так ничего не вышло и из стихотворения, в котором он силился его выразить. Эта неопределенность отразилась и на стихах: стих, доселе поэтический, даже крепкий и сжатый, становится прозаическим, вялым и растянутым и только местами сверкает прежним огнем, как угасающий волкан; целые куплеты ничего не заключают в себе, кроме слов, в которых видно одно тщетное усилие что-то сказать. И потому мы представим конец пьесы в сокращении:

«Напрасно я мой гений горделивый,
Мой злобный рок на помощь призывал;
Со мною он, *как друг* (?), изнемогал,
Как слабый враг, пред мощным трепетал,—
И я в цепях *пред* девою стыдливой!
В цепях!.. Творец! бессильное дитя
Играет мной по воле безотчетной,
Казнит меня с улыбкой беззаботной —
И я, как раб, влачусь за ним охотно,
Всю жизнь мою страданью посвятя!..»

Затем, бог знает почему, поэт спрашивает дурными стихами о *ней:* кто она и где тот, «кто девы молодой *вопьет* в себя невинное дыханье?».

«Гроза и гром! ужель мои уста
Произнесут убийственное слово?
Ужели всё в подсолнечной готово
Лишить меня прекрасного земного?..
Так, я лишен, лишен — и навсегда!..
Кто видел терн колючий и бесплодный
И рядом с ним роскошный виноград?

Когда ж и где равно их оценят
И на одной гряде соединят?..
Цветет ли мирт в Лапландии холодной?
Вот жребий мой! Благие небеса!
Быть может, я достоин наказанья;
Но — я с душой — могу ли без роптанья
Сносить мои жестокие страданья?
Забуду ль вас, о черные глаза?»

Далее поэт вспоминает те бесценные мгновения, когда, и при луне и при солнце, беседовал он тихо с милою девою или бродил с нею между гробами —

«...с унылыми мечтами,
И вечный сон, над мирными крестами,
И смерть, и жизнь летали перед нами,
И я искал покоя мертвецов!»

Вспоминает, как он заставал прекрасную в слезах над «Элоизою»,

«Иль, затая дыханье на устах,
Во тьме ночей стерег ее в волнах,—
Где, иногда, под сумрачною ризой,
Бела, как снег,— волшебные красы,
Она струям зеркальным предавала
И между тем стыдливо обнажала
И грудь и стан — и ветром развевало
И флер ее, и черные власы...
Смертельный яд любви неотразимой
Меня терзал и медленно губил;
Мне снова мир, как прежде опостыл...
Быть может... нет! мой час уже пробил,
Ужасный час, ничем не отразимый!»

Можно догадываться из этих стихов, что душа поэта пережила его тело и, живой труп, он умирал медленною смертью, томимый уже бесплодными желаниями... Страшное состояние! Как понятны после этого стихи Полежаева:

«Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!..»

Эти *черные глаза,* очевидно, были важным, хотя уже и безвременным фактом в жизни Полежаева: скорбному воспоминанию о них посвящена еще целая и притом прекрасная пьеса — «Грусть» [5]. <...>

Но это только мгновение в жизни поэта; другая любовь неотступно жила с ним и погубила его — это та, о которой он сам сказал:

«В сердце кровь
От тоски замерла,
Мир души погребла

В шумной воле любовь!
Не воскреснет она!»

Эта-то любовь, извлекшая столько грязных песен, извлекала иногда и поэтические звуки из души поэта, как в этой прекрасной песне его — «Цыганка»[6]. <...> В pendant* к этой пьесе приводим здесь и «Ахалук»[7]. <...>

Но апофеозу идола, спалившего цвет жизни поэта, представляет его пьеса «Гарем»[8]. <...>

В этом дифирамбе выражено объяснение ранней гибели его таланта... Он известен был под названием «Ренегата» и по множеству мест цинически бесстыдных и безумно-вдохновенных не мог быть напечатан вполне. Азия — колыбель младенческого человечества и как элемент не могла не войти и в жизнь возмужавшего и одухотворившегося европейца, но как элемент — не больше: исключительное же ее обожание — смерть души и тела, позор и гибель при жизни и за могилою... Полежаев жил в Азии, а Европа только на мгновение шевелила его душою: удивительно ли, что он —

«Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей?»

Отличительный характер поэзии Полежаева — необыкновенная сила чувства. Явившись в другое время, при более благоприятных обстоятельствах, при науке и нравственном развитии, талант Полежаева принес бы богатые плоды, оставил бы после себя замечательные произведения и занял бы видное место в истории русской литературы. Мысль для поэзии то же, что масло для лампады: с ним она горит пламенем ровным и чистым, без него вспыхивает по временам, издает искры, дымится чадом и постепенно гаснет. Мысль всегда движется, идет вперед, развивается. И потому творения замечательных поэтов (не говоря уже о великих) постепенно становятся глубже содержанием, совершеннее формою. Полежаев остановился на одном чувстве, которое всегда безотчетно и всегда заперто в самом себе, всегда вертится около самого себя, не двигаясь вперед, всегда монотонно, всегда выражается в однообразных формах.

В пьесе «Ночь на Кубани» вопль отчаяния смягчен какою-то грустью и совпадает с единственно возможною надеждою несчастливца — надеждою на прощение от подобного себе несчастливца, собственным опытом познавшего, что такое несчастие:

---

* дополнение, соответствие *(франц.).— Ред.*

. . . .
«Ах, кто мечте высокой верил,
Кто почитал коварный свет
И на заре весенних лет
Его ничтожество измерил;
Кто погубил, подобно мне,
Свои надежды и желанья;
Пред кем разрушились вполне
Грядущей жизни упованья;
Кто сир и чужд перед людьми;
Кому дадут из сожаленья
Иль ненавистного презренья
Когда-нибудь клочок земли...
Один лишь тот меня оценит,
Моей тоски не обвинив,
Душевным чувствам не изменит
И скажет: «Так, ты несчастлив!»
Ка́к брат к потерянному брату,
С улыбкой нежной подойдет,
Слезу страдальную прольет
И разделит мою утрату!..
. . . .
Лишь он один постигнуть может,
Лишь он один поймет того,
Чье сердце червь могильный гложет!
Как пальма в зеркале ручья,
Как тень налетная в лазури,
В нем отразится после бури
Душа унылая моя!
Я буду — он; он будет — я!
В одном из нас сольются оба!
И пусть тогда вражда и злоба
И меч, и заступ гробовой
Гремят над нашей головой!..»
. . . .
. . . .

Естественно, что Полежаев, в светлую минуту душевного умиления, обрел столько еще тихого и глубокого вдохновения, чтобы так прекрасно выразить в стихах одно из величайших преданий Евангелия:

«И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья;
А по закону, мы ее
Должны казнить без сожаленья:
Скажи нам мнение свое».

И на лукавое воззванье,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил.

И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить праотцев закон:
Но где тот праведный, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?..»

И вновь писал он на земле...
Тогда с печатью поношенья
На обесславленном челе
Сокрылись дети ухищренья —
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена...

И он, с улыбкой благотворной,
Сказал: «Покинь твою боязнь.
Где твой синедрион упорный?
Кто осудил тебя на казнь?»
Она в ответ: «Никто, учитель!» —
«И так и я твоей души
Не осужу,— сказал Спаситель,—
Иди в свой дом — и не греши» [9].

Может быть, после этого нам будет легче и поучительнее внимать страшным признаниям поэта... Тяжесть падения его была бы не вполне обнята нами без двух пьес его — «Живой мертвец» и «Цепи» [10]. <...>

Но сила чувства, особенно в падшем человеке, не всегда соединяется с силою воли,— и вопреки себе, он должен хранить жизнь, как собственную кару... <...>

«Вечерняя заря» [11], одна из лучших пьес Полежаева, есть та же погребальная песня всей жизни поэта; но в ней отчаяние растворено тихою грустью, которая особенно поразительна при сжатости и могучей энергии выражения — обыкновенных качествах его поэзии. <...>

Но Полежаев знал не одну муку падения: он знал также и торжество восстания, хотя и мгновенного; с энергической и мощной лиры его слетали не одни диссонансы проклятия и воплей, но и гармония благословений...[12]

«Я погибал;
Мой злобный гений
Торжествовал!
Злодей созрелый,
В виду смертей,
В когтях чертей
Всегда злодей.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье;
Окаменев,
Как хладный камень;

Ожесточен,
Как серный пламень,—
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений!
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий —
Удел моих
Подземных братий,
Тиранов злых
Себя самих,
Уже клеймилась
В моем челе,
Душа ко мгле
Уже стремилась...
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.
Последний день
Сверкал мне в очи,
Последней ночи
Я видел тень,—
И в думе лютой
Всё решено:
Еще минута
И... свершено!..

Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна бог
Из тьмы открытой
Меня извлек!..
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил,—
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай
Не померкая!»

В другое время сорвались с его лиры звуки торжества и восстания, но уже слишком позднего, и уже не столь сильные и громкие: посмотрите, какая нескладица в большой половине этой пьесы («Раскаяние»), как хорошие стихи мешаются в ней с плохими до бессмыслицы [13]. <...>

И посмотрите — как торжественно окончание этой пьесы; оно может служить образцом того, что называется в эстетике «высоким»:

«Но пред лицом кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам,
И передам моим струнам
И рев, и вой минувшей бури!..»

Полежаев никогда бы не был одним из тех поэтов, которых главное достоинство — пластическая художественность и виртуозность форм; которых значение бывает так велико в сфере собственно искусства, и так не велико в сфере общей, объемлющей собою не одно искусство, но и всю область духа; в котором такая бездна поэзии и так мало современных вопросов, так мало общих интересов... Талант Полежаева мог бы сделаться бессмертным, если бы воспитался на плодородной почве исторического миросозерцания. В его поэзии мало содержания; но из нее же видно, что она, по своему духу, должна была бы развиться преимущественно в поэзию содержания. Отселе эта крепость и мощь стиха, сжатость и резкость выражения. Но к этому недостает отделки, точности в словах и выражениях; причиною этого было сколько то, что он небрежно занимался поэзиею и никогда не отделывал окончательно своих стихотворений, заменяя неточные выражения определенными, слабые стихи — сильными, растянутые места — сжатыми; столько и то, что, оставшись при одном непосредственном чувстве, он не развил и не возвысил его, наукою и размышлением, до *вкуса*. Другой важный недостаток его поэзии, тесно связанный с первым, состоит в неуменьи овладеть собственною мыслию и выразить ее полно и целостно, не примешивая к ней ничего постороннего и лишнего. Причина этого опять в неразвитости и происходящей из нее неясности и неопределенности созерцания. Представляем здесь, в поучительной для молодых поэтов пример подобной невыдержанности, две прекрасные, но испорченные пьесы Полежаева, в совершенно различных родах. Первая называется «Море»:

«Я видел море — я измерил
Очами жадными его:
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

О море, море! — я мечтал
В раздумьи грустном и глубоком, —
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоем высоком?
Кто, неразгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?»
. . . .

Превосходно! Стихи, достойные величия моря! Но то ли далее? —

«Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих над тобой?
Или неведомая сила,
Враждуя *с мирной тишиной,*
Не раз твой образ изменила?
Что ты? откуда? из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззвавшей всё из ничего?
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты!»

Сбивчиво, темно, неопределенно, хотя и заметно, что у поэта шевелилась на душе мысль! Далее опять лучше:

«Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море,
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырял пред бурей утлый челн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его,
В отваге он нашел измену!..»

Превосходные стихи, кроме двух последних, которые всё портят; но целого не видно, и после начала пьесы

как-то не того ожидалось... Но, сообразно с серединою, окончание прекрасно:

«В другое время, на брегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?»

Вторая пьеса называется «Баю-баюшки-баю» [14]. <...>

Какая грубая смесь прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным! Окончание пьесы, в котором заключена вся мысль ее, стоило, чтоб для него выписать всю пьесу. Истинное эстетическое чувство и истинный критический такт состоят не в том, чтоб, заметив несовершенство или дурные места в произведении, отбросить его от себя с презрением, но чтоб не пропустить немногого хорошего и во многом дурном оценить его и насладиться им.

Впрочем, с лиры Полежаева сорвалось несколько произведений безукоризненно прекрасных. Такова его дивная «Песнь пленного ирокезца» [15] — этот высокий образец благородной силы в чувстве и выражении. <...>

Такова его прекрасная по мысли, хотя и не безусловно непогрешительная по выражению, пьеса «Божий суд» [16]. <...>

Таков его перевод пьесы Байрона «Валтасар», который некогда был неправо присвоен себе одним стихотворцем и напечатан в «Московском телеграфе», что и произвело большие споры между этим журналом и «Галатеею», где спорная пьеса была получена из настоящего источника. <...>

Есть у Полежаева несколько пьес в народном тоне; тон их не везде выдержан; но они вообще показывают в нашем поэте большую способность к произведениям этого рода. Таковы: «У меня ль молодца», «Окно», «Долго ль будет вам без умолку идти», «Там на небе высоко» и «Узник». Последняя особенно не выдержана и, несмотря на то, особенно прекрасна; вот лучшие стихи из нее:

. . . .
«Ох, ты жизнь моя, жизнь молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегаешь ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменной Москвы!
. . . .

Кто видал, когда на лихом коне
Проносился я степью знойною,
Как сдружился я, при седой луне,
С смертью раннею, беспокойною?
Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну девицу.
Штофы, бархат, ткани цветные
Саблей острой ей отмеривал
И заморские вина светлые
В чаше недругов после пенивал.
Знали все меня — знал и стар и млад,
И широкий дол, и дремучий лес;
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук желез» [17].

Как доказательство, что в натуре Полежаева лежало много человеческих элементов, выписываем его стихотворение на погребение девушки [18]. <...>

Полежаев свободно владел и языком и стихом: изысканность и неточность в выражениях происходили у него от небрежности в труде и недостатка развития. Он часто как будто играл стихом, выбирая трудные по короткости стихов размеры, где одна рифма могла бы стать непреоборимым препятствием. Можно ли выказать больше одушевления, чувства и в таких прекрасных стихах, как в пьесе «Песнь погибающего пловца» [19], писанной двухстопными хореями с рифмами. <...>

«Валтасар» может служить доказательством необыкновенной способности Полежаева переводить стихами. Только ему надо было переводить что-нибудь гармонировавшее с его духом, и преимущественно лирические произведения, по причине субъективной настроенности его натуры. Но неразвитость его была причиною неудачного выбора пьес для перевода. Полежаев с жадностию переводил водяные «медитации» Ламартина, которые всего вернее можно назвать «реторическими разглагольствованиями». Он перевел их с полдюжину, и притом самых длинных. Переводы его прекрасны и если чрезвычайно скучны, то это уж вина Ламартина, а не Полежаева.

Мы выше сказали, что натура Полежаева была чисто субъективная. Поэтому настоящим его призванием была лирическая поэзия, и все попытки его на поэмы были весьма неудачны. Поэма его «Кориолан» отличается реторическим характером; звучных стихов в ней много, но поэтических весьма мало. Этому причиною и неразвитость его: он не понимал ни духа римского народа, ни исторического значения избранного им героя. И потому содержание его «Кориолана» — общие реторические места. То же можно сказать, не боясь ошибиться, и о другой его поэме — «Видение Брута». Даже и лирические его произведения, отличающиеся длиннотою,

относятся к таким же неудачным попыткам, как, например, пьеса «Герменчугское кладбище». Впрочем, длинные лирические произведения и у какого угодно поэта редко бывают хорошими произведениями.

Полежаев много писал в сатирическом роде,— и это самые неудачные, самые жалкие его попытки. Таковы: «Иман-Козел», «День в Москве», «Кредиторы», «Чудак», «Автор и читатель» и разные мелочи. Все они отзываются дурным тоном харчевен и простонародных ресторации и могут восхищать своим остроумием разве ту почтенную публику, которая с господскими шубами на руках присутствует в коридорах театров и прихожих домов. Это происходило не от недостатка у поэта в природном остроумии, а от того круга общества, в котором он погубил свой талант, свое счастие и свою жизнь. Следующая пьеска [20] показывает, что он не чужд был юмористической веселости, но что ему недоставало лишь тонкого эстетического такта приличия:

«Я был в горах —
Какая радость!
Я был в Тарках —
Какая гадость!
Скажу не в смех:
Аул Шамхала
Похож не мало
На русский хлев.
Большой и длинный,
Обмазан глиной,
Нечист внутри,
Нечист снаружи;
Мечети с три,
Ручьи да лужи,
Кладбище, ров
Да рыбный лов,
Духан, пять лавок
И наконец
Всему вдобавок,
Вверху дворец
Преавантажный
И двухэтажный,
Где князь Шамхал
Сидит и судит
Всех наповал.
В большой папахе,
В цветной рубахе,
Румян и дюж,
Счастливый муж
По царству ходит
И юных дев
И в стыд и гнев
Нередко вводит».

Нельзя не пожелать, чтоб люди, имеющие право на собственность сочинений Полежаева и так дурно издающие их,— издали бы их опрятно, на хорошей бумаге, без искажения стихов, без грамматических ошибок, без опечаток, а главное — с разбором и с толком, исключив нелепые сатирические пьесы, о которых мы говорили, и плоские эпиграммы («Картина», «Напрасное подозрение»), надутые и пустозвонные торжественные оды («В память благотворений», «Гений») и все слабые из мелких лирических пьес. Без этого хлама книжка выйдет небольшая, зато прекрасная по содержанию и необходимая для каждого любителя отечественной литературы. Можно, если угодно, включить в нее и «Оскара Альфского» и все переводы из Ламартина и Делавиня, для почитателей этих поэтов и для образца способности Полежаева к переводам; но в таком случае всех их должно соединить в одном отделе, в конце книги, не мешая с мелкими пьесами. Можно включить в нее и эпические опыты — «Кориолана» и «Видение Брута», как факт ложного развития сильного дарования, но опять с условием — чтоб они были помещены в особом отделе. Вот перечень мелких пьес, которые могут войти в дельное издание сочинений Полежаева: «Посвящение другу его А. П. Л-му»; «Морни и тень Кормала» (из Оссиана); «Валтасар»; «Море»; «Водопад»; «Живой мертвец»; «Ожесточенный»; «Провидение»; «Цепи»; «Погребение»; «Вечерняя заря»; «Песнь пленного ирокезца»; «Песнь погибающего пловца»; «Любовь»; «Звезда»; «Песня» («Зачем задумчивых очей...»); «У меня ль молодца»; «Там, на небе высоко»; «Романс» («Пышно льется светлый Терек...»); «Черкесский романс»; «Ночь на Кубани»; «Черная коса»; «Мертвая голова»; «Гарем»; «Табак»; «Тарки»; «Цыганка»; «Раскаяние»; «Лунный свет» (из В. Гюго); «Ахалук»; «Призвание»; «Окно»; «Отрывок из послания к А. П. Л-му»; «Черные глаза»; «Божий суд»; «Негодование»; «Грешница»; «Грусть»; «Песня» («Долго ль будет вам без умолку идти...»); «Прощание»; «Узник»; «Баю-баюшки-баю». Сверх того, в одном московском журнале, чуть ли не в «Галатее» 1830 года, был напечатан замечательный по своему поэтическому достоинству отрывок из какого-то большого стихотворения Полежаева; мы не помним его названия, но помним стихи, которыми он начинается:

. . . . «И я в тюрьме...
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке,
С ружьем в ослабленной руке,
У двери дремлет часовой...

Вот все, что может и должно войти в порядочное издание стихотворений Полежаева.

Отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувст-

ва, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта. Правда, одна сила еще не все составляет: важны подвиги, в которых бы она проявилась; Раппо одарен чрезвычайною силою, но играть чугунными шарами, как мячиками,— еще не значит быть героем. Так, но ведь все же не Раппо ходит смотреть на людей и дивиться им, а толпы людей ходят смотреть на него и дивиться ему. И в сфере своих подвигов не выше ли он тех людей, которые почитают себя силачами и, кряхтя под тяжестию не по силам, надрываясь от натуги, думают удивлять людей силою!.. Мы не видим в Полежаеве великого поэта, которого творения должны перейти в потомство; мы беспристрастно высказали, что он погубил себя и свой талант избытком силы, не управляемой браздами разума; но в то же время мы хотели показать, что Полежаев и в падении замечательнее тысячи людей, которые никогда не спотыкались и не падали, выше многих поэтов, которые превознесены ослеплением толпы, и что его падение и поэзия глубоко поучительны; мы хотели показать, что источник всякой поэзии есть жизнь, что судьба всякого могучего таланта — быть представителем известного момента общественного развития и что, наконец, могут падать только сильные, замечательные таланты... При других условиях поэзия Полежаева могла бы развиться, расцвесть пышным цветом и дать плод сторицею: возможность этого видна и в том, что им написано при ложном его направлении, при неестественном развитии. Мы не обинуясь скажем, что из всех поэтов, явившихся в первое время Пушкина, исключая гениального Грибоедова, который один образует в нашей литературе особую школу,— несравненно выше всех других и достойнее внимания и памяти — Полежаев и Веневитинов... К буйной и страдающей музе Полежаева можно применить эти стихи Пушкина:

«И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил...»

Комета — явление безобразное, если хотите, но ее страшная красота для каждого интереснее мгновенного блеска падучей звезды, случайно возникающей и без следа исчезающей на горизонте ночного неба...

Н. А. Добролюбов

СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПОЛЕЖАЕВА

с портретом автора и статьею о его сочинениях, писанною В. Белинским.

Издание В. Солдатенкова и Н. Щепкина. Москва. 1857.

Полежаев пользуется у нас довольно печальной известностью в кружке тех читателей, которые доселе продолжают читать его. Кому не случалось встречать молодых людей, хранивших размашисто переписанные тетрадки с непечатными стихами Полежаева? Эти юноши восхищаются темной стороной Полежаева, забывая или не зная о его истинных достоинствах. Обвинять ли их за это, считать ли людьми пустыми, ничтожными, неспособными возвыситься над грубыми животными побуждениями? Едва ли справедливо будет такое обвинение; по крайней мере, мы никогда не решимся произнести его. Иначе мы должны были бы осудить на ничтожество самого Полежаева, который, конечно, более всего должен подвергаться ответственности за свои стихи. Нет, заблуждение еще не порок, одностороннее развитие — не преступление. Оно всегда есть прямое, неизбежное следствие тех обстоятельств, среди которых суждено человеку жить и развиваться. Можно жалеть о человеке, для которого обстоятельства сложились дурно, можно горько задуматься о той жизненной обстановке, которая может губить лучшие силы души, направляя их к злу и пороку. Но напрасно было бы обвинять самого человека в ошибочном направлении, какое принимает его деятельность под влиянием враждебных обстоятельств. По нашему мнению, только тот заслуживает полного презрения, кто совсем не обнаруживает никакой деятельности, оставаясь во всю свою жизнь существом совершенно пассивным. Такие существа, действительно, не заслуживают никакого участия и могут быть заклеймены названием людей неспособных, негодных, ничтожных, унижающих свое человеческое достоинство. От них ничего нельзя ожидать, как бы ни были благоприятны окружающие их обстоятельства. Получивши раз толчок от внешней силы, они безмятежно и ровно, по силе инерции, движутся в одном, данном им направлении. Они часто достигают предположенной цели весьма удачно, переходя от переписки бумаг к их подписыванию, от первого места на школьной скамье к наставнической кафедре, и пр. Но со всем тем трудно удерживать в себе порыв презрения и даже негодования против этих людей, которых все нравственное достоинство заключалось в умеренности, аккуратности и терпимости и которых труды, бессмысленные и мертвые, могут быть с гораздо бо́льшим успехом исполняемы хорошею машиною. Отрекаясь от своей самостоятельности, делаясь орудием чужой силы, такие люди сами становятся в разряд низ-

ших существ, сами отказываются от общего братства людского и добровольно вызывают на себя презрение даже тех, которые пользуются их услугами. Подвиг высокой доблести и самая отвратительная низость с одинаковым хладнокровием и аккуратностью совершаются пассивными натурами, как скоро дан им внешний толчок, приводящий их в движение. Тут уже не может быть заблуждений, борьбы, страданий, падения... Тут, собственно говоря, нет и вины, как нет заслуги... Но тяжкая вина перед судом общества и истории — лениво зарыть в землю свой талант, попрать свое достоинство, рутиной и бездействием убивши силы, данные от природы... Зато и общество попирает ногами таких ленивцев. Зато и история эти натуры обходит презрительным молчанием.

Не такова судьба тех несчастных, но все-таки сравнительно высших натур, которые, чуя в себе родник живых сил души, хотят непременно пробиться с ним сквозь кору житейских дрязг, общественных несправедливостей и людских предрассудков. Течение их жизни бывает бурно и мутно, часто гибельно; нередко они теряются на дороге, если сверху сушит их солнечный зной, а внизу поглощает сожженная, рассыпчатая почва; во всяком случае, их отдельная струя пропадает в общем океане истории человечества. Но все же это — движение, жизнь, а не болотный застой. В болоте погибнуть так же легко, как и в море; но если море привлекательно-опасно, то болото опасно-отвратительно. Лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине. Моралисты обыкновенно люди сонные; их можно разбудить только грозой. При сильном ударе грома они просыпаются, торопливо спрашивают: «что случилось?» и потом начинают кричать об ударе рока, постигшем одного человека, убитого громом. А перед их глазами, возле них сотни и тысячи человек падают от изнеможения, задыхаются, гибнут без шума и следа; этого они не замечают, а если и замечают, то находят, что это совершенно в порядке вещей.

Все эти мысли невольно приходят в голову после прочтения маленькой книжки стихов Полежаева и статьи о нем, написанной Белинским. С обычной своей проницательностью и силой выражает Белинский характер поэзии Полежаева и отношение ее к его жизни. Но у него есть одна фраза, которая может подать повод к ложному толкованию. «Полежаев не был жертвою судьбы,— говорит Белинский,— и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели». Мы уже сказали, что, по нашему мнению, именно себя-то он и не мог обвинять.

Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет...

Повесть эта немногосложна, но из нее видно, что Полежаев принадлежал к числу натур деятельных, для

которых лучше падение в борьбе, нежели страдательное отречение от всякой личности и самостоятельности. Начало его жизни было лучше, чем ее продолжение, как это заметно из частых сожалений поэта о потерянных годах, как видно из его задушевных воззваний к прежнему времени:

«Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное
В блеске радужных лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось из очей!..» [1]

Но и это время, о котором он вспоминал потом с грустным сожалением, не было продолжительно, так что он и не успел им воспользоваться как следует. Двадцатилетний юноша, увлекся он, как и все увлекаются в двадцать лет, страстностью своей натуры и пылкостью молодой крови; только его увлечение выразилось ярче, было сильнее, бурнее, чем бывает у других, и к этому-то времени студенчества в Московском университете относится первая, непечатная известность Полежаева. Перед концом жизни он так вспоминал об этом бурном периоде своей жизни:

«Я подвиг жизни совершил
И юных лет фиал безвкусный,
Надолго памятный,— разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл!
Тогда, вдали от глаз невежды
Или фанатика-глупца,
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца,
И счастлив был! Самозабвенье
Таилось в бездне пустоты...» [2]
. . . .

Если бы мы захотели, мы могли бы найти у Полежаева много подобных признаний, доказывающих, что он был человек не вроде поручика Пирогова и что порыв, увлекавший его к наслаждениям чувственности, скоро сменился бы другим, более благородным увлечением. Он уже начинал, кажется, этот поворот жизни, когда над ним разразился новый удар судьбы, и

«Мир души погребла
К шумной воле любовь...» [3]

Из молодого, разгульного кружка своих товарищей внезапно попал Полежаев в другой круг — гораздо более грубый, порочный и невежественный, в котором смотрели на поэта как на преступника и негодяя. Он не хотел и не мог подчиниться тому, чему легко подчинялись другие, а его заставляли подчиняться.

«Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье» [4],

и Полежаев ожесточился против людей и судьбы. Сначала у него еще оставался какой-то гений, которого он не называет ни добрым, ни злым, но который обещал ему свое покровительство, а потом забыл его... Полежаев с доверчивостью ждал его помощи, и надежда на этого гения поддерживала его в постоянной борьбе с обстоятельствами. Утомляясь борьбою, он восклицал:

«Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов.
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: воскресни и живи!
Я оживал; но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня, и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок,—
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует
Над бедным плавателем рок...» [5]

Несмотря на эти минуты сомнения и тоски душевной, долго еще крепился бедный поэт и гордо сражался с гнетущей его судьбой:

«Увы, давно печален, равнодушен,
Он привыкал к лихой своей судьбе:
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен» [6].

Стремление к самостоятельной жизни развилось в нем еще больше среди несчастий и стеснений, и в то

время, как челнок его уже тонул, он еще находил в себе силы петь эту песнь погибающего пловца:

«Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы
С юных лет,
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег.
На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных
Я скользил;
Я шутил
Грозной влагой,
Смертный вал
Я отвагой
Побеждал...» [7]

Таким открытым выражением энергии и силы смелого бойца отличаются стихотворения Полежаева до того времени, когда является в них упоминание о заключении и болезни. Известно, что в последнее время своей жизни Полежаев страдал чахоткой и умер в больнице, получив в минуты предсмертного томления офицерский чин. Это последнее время тяжелой жизни вызвало у поэта несколько отчаянных, ожесточенных стихотворений. Он изнурен был битвою жизни, гений его не являлся к нему на помощь, усилия его свергнуть с себя гнетущее иго судьбы оказывались бесплодными,— и одно отчаянное, страшное презренье к жизни осталось в душе поэта. Ужасные звуки нашел он в себе для выражения силы своего отчаяния:

«Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огнь души унылой
Воспламеняется во мне:
С снедающей меня могилой
Борюсь, как будто бы во сне;
Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить.
Как раб испуганный, бездушный,
Кляну свой жребий я тогда
И вновь взираю равнодушно
На жизнь позора и стыда» [8].

Эта жизнь позора и стыда могла бы быть жизнью славы и величия. Человек, нашедший такие звуки для выражения отчаяния, умел бы проникнуться какими угодно возвышенными чувствами и найти для них выражение в слове и в деле. При другой жизненной обстановке не погиб бы этот энергический талант жертвою неравной и бесплодной борьбы. Не звуки проклятий и злобы, а роскошные звуки чистых, спокойных стремлений мог бы он завещать миру, потому что, кроме чрезвычайной силы, талант Полежаева отличается еще необыкновенной страстностью и стремительностью. Она-то и увлекает пылких юношей в непечатных стихотворениях Полежаева. Мы не виним их за это в пустоте и ничтожности: можно <этим> увлекаться, и не будучи ничтожным человеком. Но мы глубоко и тяжко должны сожалеть о той среде, которая не представляет ничего лучшего для увлечения молодых людей, мы должны грустно, безотрадно задуматься о тех преданиях, которыми передаются, как драгоценное наследие, из поколения в поколение, грязные произведения поэтов, сбитых с чистого пути и столкнутых в вонючую лужу. Не один Полежаев погиб у нас в этой мрачной и душной среде, под влиянием этих развратных преданий, поддерживаемых застоем общественной жизни. Грустное раздумье одолевает всегда при воспоминании о гибели деятельной натуры. Напрасно стараешься успокоить себя тем, что гибель эта не бесплодна, что она была необходима по законам истории. Все-таки остается в душе неотвязный вопрос, так поэтически выраженный Полежаевым:

«Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души?
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком, чистом поле
Пышным цветом расцвести?..» [9]

Н. П. Огарев

ПРЕДИСЛОВИЕ <К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЛОНДОН, 1861>

(Отрывок)

...Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений.

<...> Незадолго до 14 декабря иной мир, мир русского *невежественного* барства, русского помещичества, выпустил в свет горячего юношу с сильным поэтическим талантом, который мог развиться только под условием — забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел; но с детства усвоенная привычка необузданности и рука Николая — дикого каменного гостя, настигшего дикого Дон Жуана,— не допустили могучий талант до отрицания этой среды в жизни, а следственно и в поэзии, и он —

«Не расцвел
И отцвел
В утре пасмурных дней» [1],

спасаясь от утраты всякой надежды в уродливость буйства бесконечного, безобразного; исчез, не развившись, а все же оставив резкий, жгучий след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погибнуть только человек, чувствовавший, что 14 декабря всякая русская свобода рухнула навеки и что помимо необузданного самозабвения в вечной оргии,— которая доконала бы тщетно живое тело, чем скорей, тем лучше,— ничего не остается на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век. Интерес сузился, общественный интерес переходит в личный; поэту уже не шепчет тайный голос, что «пора губить врага Украйны»; для него дорога не Украйна, а дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни. Редко на ком обстоятельства жизни так ярко отразились, как на личности и поэзии Полежаева. Уродливая поэма, за которую царственный Иуда-Меценат дал поэту лобзание и отдал его в солдаты, бро-

сает полный свет на его существование и вместе указывает на раздвоенность нашего высшего сословия — на образованное меньшинство и дикое помещичество. Сашка вырос в среде дикого помещичества; он ненавидит его, но хранит все его привычки, ставящие его в уровень с задавленным им дворовым человеком; Сашку воспитывает дворовый человек, да он воспитывает и все дикое помещичество. От этого Сашка плачет перед отцом-барином, которого обманывает, и бьет девок по зубам. В нем есть удаль, но нет изящества; в нем есть жажда воли и ненависть к власти, но нет благородства, нет доблести. Он просто буян, как вообще дворовый человек и дикий помещик. Мы очень хорошо знаем эту среду необузданного помещичества, которое с дворней пьет и дворню бьет, чтоб не видеть ясно, как оно создало «Сашку»; в поэме остался один цинизм с недосугом обработать язык, лишенный изящной формы и изящных образов. Какое необъятное расстояние от эротических стихотворений Пушкина! Среда образованного, мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого помещичества вырастила Полежаева. После первой проигранной попытки свободы Пушкин и образованное меньшинство еще могли отдохнуть в чувстве изящного, в понятии художественности; Полежаеву негде было искать отдыха и оставалось выгореть в собственной необузданности. От народа обе стороны были далеки, несмотря на гражданское направление одной и на близость нравов другой с дворовым человеком; собственно народ, то есть крестьянство, так же далек от дворового человека, как и от помещика; дворовый человек представляет для него только помещичьего чиновника. Но образованное меньшинство могло на пути искать отдыха; в нем таилась надежда на сближение с народом, в нем вырабатывались и определялись общественные убеждения. У дикого помещичества нет исхода; оно не может себя вообразить иначе, как плачущим перед отцом-государем, оделившим его землей и рабами и бьющим по зубам остальной люд; оно обречено на гибель. Бедный поэт, несмотря на весь душевный жар, на неопределенное, но горячее сочувствие гражданской свободе, не мог оторваться от привычек необузданности, его взлелеявшей, и погиб — равно под гнетом собственной, личной традиции и под гнетом царской власти, покаравшей его за то, что он мыслию смел оторваться от этой традиции. Мы не знаем больше трагической жизни и больше рокового конца. Все соединилось против юноши, страстно полюбившего волю и рифму,— происхождение и царь, воспитание и Николай Павлович; наконец, крысы обкусали ноги его трупа, заброшенного в казарменных подвалах. И поневоле у живого человека вырывается проклятье и этой недостойной среде и этой недостойной власти!

Влияние Полежаева на литературу и общество, несмотря на силу его отчаяния, несмотря на жесткую и мрачную, но истинную и искреннюю поэзию его «Арестан-

та», ходившего в рукописи по рукам,— было не сильно, как последний звук замирающего выстрела. Общество шло к отдыху и раздумью. Пушкин дорастал до гениальной художественности, но перед концом поворачивал к глухому, мистическому полуотчаянию, полупророчеству — так звучат его подражания Данту. «Не дай мне бог сойти с ума», «Однажды странствуя». На этом звуке он замер. Новых талантов не являлось. Домогались до чего-то лжеталанты — вроде Кукольника; их поверхностный след скоро изгладился из памяти, как все не истинное. Но между тем, несмотря на аристократические порывы у Пушкина, вроде «Родословной», «Мещанина», «Эпиграммы на Северина»,— целость его гражданского направления и влияние декабристов достигли одного результата: уважение к барству и помещичеству было подточено в общественном сознании; меньшинство дворянства не могло быть помещиком откровенно и не могло не быть помещиком безнаказанно. Внутренняя мысль и совесть мешали оставаться в этих отношениях к народу, Николай не позволял из них выйти, считая самую мысль за революцию. Нельзя было вырваться из собственного преступного положения, нельзя было последовать внутреннему влечению и сблизиться с народом, еще противнее было бы примкнуть к правительству. Меньшинство почувствовало себя лишним человеком. Общественной деятельности для него не было; ему еще позволялось углубляться в собственную тоску и пустоту жизни, а «родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка», любовью привычки к знакомому пейзажу. Напряженная трагичность этого положения требовала сильного голоса в литературе; ее все чувствовали, но она ускользала от внимания и наблюдения, заглушаемая внешней суетой жизни. Ее выразил Лермонтов...

А. А. Григорьев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О 1830-Х ГОДАХ

I

Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство,— эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья,— эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком». Эпоха, над

которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая, в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству... <...>

...А между тем университет, к которому принадлежал мой юный наставник, был университетом конца двадцатых и начала тридцатых годов, и притом университет Московский — университет, весь полный трагических веяний недавней катастрофы и страшно отзывчивый на все тревожное и головокружительное, что носилось в воздухе под общими именами шеллингизма в мысли и романтизма в литературе, университет погибавшего Полежаева и других.

Я бы мог по источникам той эпохи, довольно близко мне знакомым, наговорить много об этом тревожном университетском поколении, но я поставил себе задачею быть историком только тех веяний, которые сам я перечувствовал, передать цвет и запах их, этих веяний, так, как я сам лично припоминаю, и в том порядке, в каком они на меня действовали.

Ясное дело, что ни с Полежаевым, ни с кругом подобных этой волканической личности людей мой Сергей Иванович не был и не мог быть знаком. <...> Буйные люди, стало быть, не ходили к моему наставнику, а ходили всё люди смирные: только некоторые из них в пьяном образе доходили до сношений более или менее близких с городскою полициею, да и такие были, впрочем, у отца на дурном замечании и более или менее скоро выпроваживались. <...>

Но каким образом и этот кружок посредственностей задевали жизненные вихри, каким образом веяния эпохи не только что касались их, но нередко и уносили за собою, конечно, только умственно. Ведь дело в том, что если оживлялась беседа, то не о выгодных местах и будущих карьерах говорилось... Говорилось, и говорилось с азартом, о самоучке Полевом и его «Телеграфе» с романтическими стремлениями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесчисленных альманахах той наивной эпохи; с какой-то лихорадочностью произносилось имя «Лорд Байрон»... из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева... Когда произносилось это имя и — очень редко, конечно — несколько других, еще более отверженных имен, какой-то ужас овладевал кругом молодых людей, и вместе что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было в этом ужасе, а если в торжественные дни именин, рождений и иных разрешений «вина и елея» компания доходила до некоторого искусственно приподнятого настройства... то неопре-

деленное чувство суеверного и вместе обаятельного страха сменялось какою-то отчаянною, наивною симпатиею — и к тем речам, которых

«значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно»,

и к тем людям, которые или «жгли жизнь» беззаветно, или дерзостно ставили ее на карту... Слышались какие-то странные, какие-то как будто и не свои речи из уст этих благонравных молодых людей...

Каким образом даже в трезвые минуты передавали они друг другу рассказы об их, страшных им товарищах, отдававших голову и сердце до нравственного запоя шеллингизму или всю жизнь свою беснованию страстей! Ведь все они, благонравные молодые люди, знали очень хорошо, что отдача себя в полное обладание силе такого мышления ни к чему хорошему повести не может. Некоторые пытались даже несколько юмористически отнестись к философскому или жизненному беснованию — что, дескать, «ум за разум у людей заходит» — и все-таки поддавались лихорадочно обаянию.

II

...В самой эпохе, присвоявшей себе тогда название «романтически народной», были уже элементы разложения. <...>

Эпоха не была народною, но зато действительно была вполне «романтическою», то есть эпохою чаяний, тревожных порываний к чему-то, брожения сил и даже бесцельной траты их... Три высоких таланта были жертвами этого брожения и этой бесцельной траты сил: Марлинский, Полежаев, Мочалов... Это было, может быть, то в нашем развитии, что у немцев так называемая Sturm und Drang Periode, период «Разбойников» Шиллера, драм Клингера и безобразной жизни юного Гете с другом его, веймарским герцогом,— только, по нашему более живому характеру, несравненно сильнее и нелепее. У немцев иное дело мысль, а иное дело жизнь: Кант и Гегель были самыми спокойными гелертерами, даже в некотором отношении филистерами; мужество и старость Гете не похожи были на его юность, и из всего кружка этих буйных юношей только один Мефистофель — Мерк кончил самоубийством да Шиллер рано умер «с горя, что он немец», как выражался один оригинально умный российский циник. Но у нас романтизм и тревога отражались в целой жизни лиц и даже поколений, ложившихся в могилу такими же, какими были в колыбели. Мы свято верили в то, что для наших старших на пути развития братий было только брожением умственным, и прямо, нисколько не колеб-

лясь, ни перед чем не останавливаясь, переводили в жизнь идеи, часто даже плохо их переваривши...

Колоссальные замыслы, тревожные сны и в действительности падение в грязь цинизма, как Полежаев, или в совершенно пустые пространства, как Марлинский, донкихотство, принимавшее не раз восточную и притом татарскую физиономию, истощение жизненных сил не в борьбе, а в праздном дилетантизме, в праздной игре жизнью — вот что отличало в эту эпоху натуры действительно могучие. Но болезнь напряженности нравственной распространялась как зараза, и не одни могучие натуры ей подвергались, а все натуры сколько-нибудь впечатлительные, хотя и слабые. На их долю выпадала ходульность и потом падение в пошлость жизни, в пошлость созерцания жизни... <...>

В романтизме этой эпохи именно нужно различить два направления. Одно заявляло себя могучими силами, необузданными стремлениями, колоссальными замыслами и давало подчас свидетельства очевидные и несомненные присутствия в себе таких свойств. Литературно выразилось оно в Полежаеве и Марлинском. Другое постоянно напрягалось и падало в смешное или пошлое, как Полевой и Кукольник. Первое направление само себя разрушало, само себя сжигало, но сжигало как феникс, возродилось ярким, хотя быстро промелькнувшим явлением, явлением Лермонтова, ибо все те элементы, которые тревожно и часто безобразно бушевали и бродили в гениальных проблесках полежаевского таланта, в «Аммалат-беке», «Красном покрывале», даже «Мулла-Нуре» и «Вадимове» Марлинского, получили целость и гармонию в немногих оставшихся нам созданиях великого, рано похищенного у нас роком поэта, и нет поводов думать, чтобы элементы эти закончили совсем свое дело, чтобы они вновь не возродились в ином великом поэте.

ПРИМЕЧАНИЯ

В сборник включены избранные произведения А. И. Полежаева. Стихотворные тексты даются по изданию *А. И. Полежаев.* Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта. Большая серия), Л., 1957 (вступительная статья Н. Ф. Бельчикова. Подготовка текста и примечания В. В. Баранова); в отдельных случаях привлекалось издание *Александр Полежаев.* Сочинения, М., ГИХЛ, 1955 (вступительная статья и примечания В. И. Безъязычного).

Авторские даты создания того или иного произведения приводятся без изменений и сокращений, т. е. сохраняются все составные части: год, месяц, число, место написания; предположительные даты, установленные по косвенным признакам, заключены в угловые скобки.

В сборнике сохраняется традиционное деление поэтического творчества А. И. Полежаева на два раздела: «Стихотворения» и «Поэмы». Единственное исключение: стихотворение «Видение Брута», помещенное в вышеназванных изданиях в разделе поэм, перенесено в раздел стихотворений, поскольку по жанру, размеру его с бо́льшим основанием можно отнести именно к стихотворениям, и на том основании, что прижизненный сборник, в котором оно было напечатано («Кальян», 1833), имеет жанровое определение: «Стихотворения».

СТИХОТВОРЕНИЯ

Гений (с. 26).

Стихотворение написано Полежаевым по заказу начальства Московского университета для публичного прочтения на торжественном собрании 3 июля 1826 года, по-

священного окончанию учебного года. Вольнолюбивые мотивы стихотворения и строки, прямо перекликавшиеся с сатирой К. Ф. Рылеева «К временщику», были сняты или переделаны университетской цензурой; дописаны строфы, восхвалявшие Николая I. Изуродованный цензурой текст на собрании зачитал не сам Полежаев, видимо не принявший поправок, а другой студент.

В настоящем издании печатается подлинный текст Полежаева без цензурных изменений.

Вечерняя заря (с. 29).

Впервые напечатано в 1829 году с пропуском строк, в которых Николай I назван палачом и которые придают всему стихотворению политический оттенок. Полностью, с криминальными строками, приведено в доносе Шервуда на Полежаева в том же 1829 году как доказательство антиправительственных настроений поэта.

Цепи (с. 31).

Стихотворение приведено в доносе Шервуда; до революции печаталось с цензурными искажениями.

Песнь пленного ирокезца (с. 32).

Одно из самых популярных стихотворений Полежаева; приведено в доносе Шервуда. Неоднократно положено на музыку разными композиторами, в том числе Н. П. Огаревым и М. П. Мусоргским.

Фактический историко-этнографический материал об истязаниях пленных у ирокезов взят Полежаевым из книги аббата де-Ла Порта «Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового света...» (Русский перевод: СПб., 1816).

Ирокезцы (ирокезы) — наименование индейских племен северо-восточной части Северной Америки.

«Притеснил мою свободу...» (с. 33).

Написано после столкновения с фельдфебелем, в результате которого Полежаев был подвергнут длительному заключению.

...штабс-солдат — т. е. старший солдат; фельдфебель относился к рядовому составу.

Рок (с. 34).

Стихотворение находится среди приложенных к доносу Шервуда.

Али Янинский (1741—1822) — наместник Албании, находившейся под властью турецкого султана, добился почти полной независимости от Турции.

Фирман — личный указ, предписание султана.

Крез (VI в. до н. э.) — царь Лидии — государства в Малой Азии; по преданию, обладал несметными богатствами; в 546 г. до н. э. Лидия была захвачена персидским царем Киром II; взятый в плен Крез был приговорен к сожжению на костре, но затем помилован Киром II.

Кир II Великий (ум. 530 до н. э.) — царь Персии, полководец, участвовал во многих сражениях, но умер, как утверждает легенда, дома, в постели.

Народный гладиатор — *Спартак* (ум. 71 г. до н. э.) — вождь восстания римских рабов в 73—71 гг. до н. э.; по происхождению фракиец, был продан в рабство.

Ефрейтор-император — Николай I.

Ожесточенный (с. 39).

Авель — по библейской легенде, сын Адама и Евы — первых людей земли, убитый из-за не имеющей под собой никаких оснований зависти старшим братом своим Каином; символ невинной жертвы.

Этна — действующий вулкан на острове Сицилия; за исторические времена — с середины II тысячелетия до н. э. и до наших дней — имеются сведения об около 150 его извержениях.

Кремлевский сад (с. 40).

Кремлевский, или *Александровский сад* — был устроен в 1821—1823 годах по внешней стороне западной стены Кремля после того, как протекавшая там река Неглинная в 1819 году была заключена в трубу.

Табак (с. 41).

До революции печаталось с выпуском 9—12-й строк или с цензурной заменой слова «тиран» словами «злой рок». В солдатской среде бытовало в виде песни.

Кальян — трубка особого устройства для курения табака через воду, употребительна в странах Востока.

...шербет — прохладительный напиток из фруктовых соков с сахаром.

Казак (с. 42).

Текст известен только в копии, сделанной А. П. Лозовским; нарушение размера в строке «В душе его мрачного предчувствия нет» объясняется, возможно, неточностью копии.

Черные горы — название одной из цепей гор, образующих Кавказский хребет.

Трам абазинский — порода лошади, выведенная на конном заводе, принадлежавшем абазинскому (народность абхазо-адыгской группы) старшине Траму, и считавшаяся в первой половине XIX века одной из лучших пород верховых лошадей.

Базалай — известный дагестанский оружейный мастер начала XIX века.

Атага — чеченский аул, в котором было развито производство высококачественного холодного оружия.

Черная коса (с. 43).

Об истории создания стихотворения имеется свидетельство современника. Он рассказывает, что после штурма и взятия селения Чир-Юрт в Северном Дагестане 19 октября 1831 г. «Полежаев, ходя по грудам тел и развалинам, увидел убитую мусульманку, девушку несравненной красоты, у которой была перерублена коса, так что едва держалась на нескольких волосках. Полежаев, будучи поражен смертью несчастной красавицы, бережно перерезал волосы, отделил от головы косу и спрятал ее под мундир, у своего поэтического сердца, на память».

Стихотворение было положено на музыку (композитор неизвестен) и бытовало как романс, особенно популярный на Кавказе.

Федору Алексеевичу Кони (с. 47).

Кони Ф. А. (1809—1879) — русский драматург-водевилист, учился в Московском университете (окончил в 1833 г.), близкий знакомый Полежаева.

Was sein soll — muss geschehen! (нем.) — Чему быть — того не миновать!

...гурии — по учению ислама, прекрасные девы, услаждающие правоверных в раю.

Гаафиц (Хафиз) (ок. 1325—1389) — великий персидский поэт-лирик.

К друзьям (с. 49).

Написано в жанре широко распространенных в начале XIX века литературных посланий; стихотворение содержит в себе явные и скрытые литературные цитаты, частично указанные самим Полежаевым. Это стихотворение послужило образцом для М. Ю. Лермонтова при создании стихотворения «Валерик».

Я тот, чем был, чем есть, чем буду. — Строка несомненно перекликается со строкой из стихотворения

А. Н. Радищева «Ты хочешь знать» — «Я тот же, что и был и буду весь мой век».

Вы не осудите меня — неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (Глава II, «Письмо Татьяны»).

Я пережил мои желанья — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Я пережил свои желанья» (1821 г.).

Минувших дней очарованья — цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1818 г.).

...сатурналии — празднество в Древнем Риме в честь Сатурна — бога времени и плодородия, считавшегося древнейшим царем Италии, правление которого называли золотым веком. Сатурналии отличались особой разгульностью.

Люблю я бешеную младость — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (Глава I).

...бостон и мушка — популярные карточные игры.

Море (с. 51).

...порфира — верхняя торжественная одежда государей в виде широкого и длинного плаща, подбитого горностаевым мехом.

Акташ-Аух (с. 55).

Акташ-Аух — аул на реке Акташ в нагорном Дагестане; взят 8 января 1832 г.

Цыганка (с. 55).

...фараонка. — В начале XIX века господствовало мнение о происхождении цыган от египтян. Г. Р. Державин в стихотворении «Цыганская пляска» (1804 г.) называет цыганку «египтянкой»; А. С. Пушкин в стихотворении «Всеволожскому» (1819 г.) пишет о цыганках: «А там египетские девы / Летают, вьются пред тобой».

Демон вдохновенья (с. 56).

Ариман, Оризмад — принятое в греческой традиции написание имен двух главных богов древней религии народов Востока — зороастризма, сложившейся в VII в. до н. э. *Ариман* (Анхра-Майнью) — бог зла и тьмы, повелевающий душами грешников, находящихся в аду, и пребывающий в вечной борьбе с богом добра и света *Оризмадом* (Ахурамаздой). По учению зороастризма в конечном счете через 12 тысяч лет добро одержит полную победу над злом, и тогда возникнет идеальное царство на небе и на земле.

Ахалук (с. 60).

Стихотворение получило распространение как песня.

...ахалук (архалук) — мужская верхняя одежда, короткий кафтан.

...демикотон — хлопчатобумажная плотная ткань.

...атагинка — жительница аула Атаги.

...уздени — военное дворянство горских народностей.

Могол — титул властителя Индийской империи.

База — женское чеченское имя.

Иван Великий (с. 61).

Иван Великий — главная колокольня Московского Кремля, самое высокое сооружение Москвы; в народном сознании в XVIII—XIX веках считалась символом величия Москвы и России.

Бриарей — по античной мифологии, сторукий великан, отважившийся восстать против Юпитера.

Реншильд, Шлиппенбах — шведские полководцы, взятые в плен в Полтавской битве (1709 г.).

Семирамида (IX в. до н. э.) — ассирийская царица, по преданию, отличавшаяся мудростью и красотою. Здесь имеется в виду русская императрица Екатерина II (1729—1796), которую Вольтер называл «Северной Семирамидой».

...герои Альпов и Тавриды — русские полководцы *А. В. Суворов* (1730—1800), под командованием которого русская армия в 1799 г. после разгрома войск Наполеона в Италии совершила героический переход через Альпы в Швейцарию, и *Г. А. Потемкин* (1739—1791), руководивший военными действиями в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 гг. в Крыму.

Оссиан (III в.) — легендарный кельтский поэт.

...супруг твой, Жозефина — т. е. Наполеон I, женатый первым браком на Жозефине Богарнэ.

...нового сармата — здесь нашествие Наполеона сравнивается с польско-литовской интервенцией начала XVII века, во время которой Москва была занята интервентами; *сарматы* — ираноязычные племена, жившие с 3 в. до н. э. по 4 в. н. э. в степях от Тобола до Дуная, позднее растворившиеся в других народах. В XIX веке ошибочно считали, что поляки происходят от сарматов; в русской поэтической речи начала XIX века наименование «сармат» было принято как поэтический синоним слова «поляк».

Святослава меч кровавый.— Святослав Игоревич (ум.

в 972 или 973 г.) — великий князь Киевский, вошедший в историю как князь-полководец; в русской литературе XVIII — начала XIX века часто фигурирует как символ русской воинской доблести и славы.

...алкоран (коран) — священная книга ислама.

...под самый купол золотой. — Любоваться панорамой Москвы с «Ивана Великого» было глубоко укоренившейся московской традицией. Описание вида, открывающегося с «Ивана Великого», содержится в сочинении М. Ю. Лермонтова «Панорама Москвы», написанного в то же время, что и стихотворение Полежаева «Иван Великий».

Видение Брута (с. 65).

В стихотворении описан эпизод из истории Древнего Рима, относящийся к 44—42 гг. до н. э.,— борьба приверженцев монархического строя, возглавлявшихся триумвиратом из Марка Антония, Октавиана и Лепида, и сторонников аристократической республики, во главе которых стояли Брут и Кассий. В 42 г. до н. э. войска республиканцев потерпели поражение, Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский политический деятель; сторонник республиканского правления; в 44 г. до н. э. вместе с Кассием возглавил заговор против императора Гая Юлия *Цезаря* (100—44 до н. э.) и, как утверждает предание, первым из заговорщиков нанес ему удар кинжалом.

Филиппинские поля — равнины при селении Филиппы (в Македонии); место решительного сражения войск триумвиров с войсками Брута и Кассия.

Камилл Марк Фурий (ум. 365 до н. э.) — римский полководец.

Сципион Публий Корнелий Старший (ок. 235—183 гг. до н. э.), *Сципион* Публий Корнелий Младший (185—129 гг. до н. э.) — римские полководцы, одержавшие ряд побед в войнах Рима с Карфагеном.

Сцевола Гай Муций (конец VI — начало V в. до н. э.) — легендарный герой периода борьбы римлян против этрусков. Пробравшись во вражеский стан, чтобы убить этрусского царя Порсену, он был взят в плен. Ему угрожали пытками, если он не выдаст сообщников, тогда он положил руку в огонь и держал, пока она не обуглилась, показывая этим, что он не боится ни боли, ни

смерти. Пораженные мужеством юноши, как утверждает предание, и поверя его словам, что все римляне таковы, этруски отступили от стен Рима.

Регул Марк Атилий (ум. 251 г. до н. э.) — римский полководец, разгромивший карфагенский флот.

Цинцинат Люций Квинкций (V в. до н. э.) — выдающийся римский политический и военный деятель; считался образцом доблести, верности гражданскому долгу и скромности.

Раздоры Мария и Силлы — междоусобная борьба двух партий Древнего Рима в 89—86 гг. до н. э., возглавлявшихся полководцем *Марием* и первым диктатором Рима *Суллой*.

Помпей Гней (106—48 гг. до н. э.) — выдающийся политический деятель и полководец Древнего Рима; после усиления влияния Цезаря, стремившегося к личной диктатуре, начал борьбу против него и был убит.

Тарквиний (VI в. до н. э.) — римский царь; по преданию, принудил жену своего родственника Коллатина Лукрецию к сожительству. Не вынеся позора, Лукреция закололась кинжалом; против Тарквиния поднялось возмущение, в результате он вынужден был бежать из страны. Вместо монархии в Риме была установлена республика.

Духи зла (с. 68).

Содом — по библейскому преданию, город, который за грехи его жителей был разрушен землетрясением и «огненным дождем».

Черные глаза (с. 71).

...над нежной Элоизой — имеется в виду роман французского писателя и философа *Ж.-Ж. Руссо* (1712—1778) «Новая Элоиза».

Негодование (с. 75).

Немезида — в древнегреческой мифологии богиня возмездия.

Красное яйцо (с. 80).

Написано, по свидетельству А. П. Лозовского, «в 1836 году в апреле месяце, в самую заутреню».

Красное яйцо. — В России существовал обычай на пасху дарить друг другу красные (крашеные) яйца.

Венок на гроб Пушкина (с. 86).

Перевод эпиграфа:

О как свят и чист восторг поэта,

Когда видит он в грезах своих, презирая немую
смерть,
Как растет его слава в потоке времени!
Внимая своему прошлому, он склоняется
С величественных высот своих над грядущими
веками;
И имя его, как некая тяжесть, брошенная в пропасть,
Пробуждает тысячекратное эхо в глубине будущего.
В. Гюго.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт, автор сатир, один из зачинателей новой русской литературы.

Феофан Прокопо́вич (1681—1736) — крупный церковный и политический деятель царствования Петра I, выдающийся писатель, поэт, драматург, историк.

...Холмогорский великан — М. В. Ломоносов.

...перуны — здесь: победы. *Перун* — в славянской мифологии верховное божество, бог грома и молнии.

Елисавета (1709—1761) — русская императрица в 1741—1761 гг., дочь Петра I.

Петров Василий Петрович (1736—1799) — русский поэт, наиболее известны его оды, современниками считался преемником Ломоносова.

...диадима (диадема) — первоначально на Древнем Востоке шерстяная, полотняная или шелковая повязка, носимая царями на лбу; впоследствии стала украшаться золотом и драгоценными камнями. Диадему носили цари Древней Греции и Рима.

...парке́ — паркет.

Клио — в древнегреческой мифологии муза — покровительница истории.

Петрарка Франческо (1304—1374) — великий итальянский поэт-лирик, гуманист и просветитель.

Тасс — *Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», считавшейся вплоть до начала XIX века непревзойденным образцом эпической поэмы.

Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт-лирик; казнен во время Великой французской революции по обвинению в заговоре. Его сочинения были изданы посмертно в 1819 году и быстро получили всемирную известность.

Неведомый поэт, но юный, славы жадный — имеется

в виду М. Ю. Лермонтов и его стихотворение «Смерть поэта».

Анакреон (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; его имя стало нарицательным именем для лирического поэта.

Утешение.

Заключающее цикл четверостишие написано под впечатлением от письма В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года, где описываются последние минуты А. С. Пушкина, в которые он проявил себя якобы христианином и верноподданным, и благодеяния, оказанные Николаем I семье поэта. Письмо было тогда же напечатано в журнале «Современник» и широко распространялось в обществе.

«А й, а х т и! о х, у р а...» (с. 92).

Стихотворение написано в форме солдатской песни; по содержанию и направленности оно близко к агитационным песням декабристов. Из текста явствует, что стихотворение создано на Кавказе. Автограф в начале и конце стихотворения имеет кавычки, которые позволяют предположить, что эта песня является вставной частью более крупного стихотворения или поэмы. Некоторые слова в рукописи для конспирации обозначены одной начальной буквой, например: «православный» — «п», «царь» — «ц», «престол» — «п» и так далее. В настоящей публикации все эти слова даются полностью без особых оговорок.

Не сдержал, не свершил / Императорских слов.— При восшествии на престол после подавления восстания 14 декабря 1825 года Николай I в «Высочайшем манифесте» объявил: «Ни делом, ни намерением не участвовали в сих злодеяниях заблудившиеся роты нижних чинов, невольно в сию пропасть завлеченные. Удостоверясь в сем самым строгим изысканием, я считаю первым действием правосудия и первым себе утешением объявить их невинными». Но в нарушение этого заявления многие солдаты полков, причастных к восстанию, в наказание были направлены в действующую армию на Кавказ.

Охранили тебя / От большой кутерьмы.— Имеется в виду восстание 14 декабря 1825 года, подавленное военной силой.

От стальных тесаков / У нас спины трещат.— В царской армии 1830—1840-х гг. одним из самых распростра-

пенных наказаний было битье тесаками плашмя.

Тюрьма (с. 94).

Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники».

Осужденный (с. 95).

Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники».

Дантон Жорж Жак (1759—1794) — один из вождей Великой французской революции, член Конвента, руководитель Комитета общественного спасения; казнен по приговору Революционного трибунала за несогласие с политикой террора правительства якобинцев.

Грекур Жан Батист (1683—1743) — французский поэт, автор антирелигиозных и эротических стихов, сказок, новелл, эпиграмм.

Анахарсис Клоц — Клоотс, Жан Батист (1755—1794) — деятель Великой французской революции, философ-просветитель, его взгляды отличались крайним атеизмом; член Конвента; казнен по приговору Революционного трибунала.

Пафос — город на острове Кипр, по древнегреческим мифам — место рождения богини любви и красоты Афродиты (Венеры).

Из VIII главы Иоанна (с. 98).

Стихотворение разрабатывает сюжет, содержащийся в Евангелии от Иоанна, глава VIII, стихи 3—11.

Белая ночь (с. 100).

Tout va au mieux... «Candide» (франц.).— Всё к лучшему... «Кандид». Цитата из повести Вольтера «Кандид».

...на берегах Неглинной.— Река Неглинная — приток Москвы-реки; вытекая из болота в Марьиной роще, протекала через Самотечную площадь, Трубную площадь, по нынешней Неглинной улице, площади Свердлова, площади Революции, Александровскому саду. В 1816—1820 годах в центральной части города была заключена в трубу; ныне целиком протекает по подземному коллектору. На Неглинной находились мельницы, мастерские ремесленников; до начала XIX века она играла большую роль в хозяйственной жизни Москвы. Называя Москву городом «на берегах Неглинной», а не на Москве-реке, Полежаев дает понять, что действие происходит в демократической среде.

Тоска (с. 101).

Окончание стихотворения утрачено.

<Отрывок из письма к А. П. Лозовскому.> (с. 102).

Одно из самых последних стихотворений Полежаева; адресатом стихотворения, А. П. Лозовским, указано, что оно написано «за месяц до смерти». Предание считало его вообще последним, и в издании 1857 года имеется примечание: «Пьеса эта написана за несколько дней до смерти».

ПОЭМЫ

Сашка (с. 106).

Написана поэма между февралем 1825 года, датой выхода в свет первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, и июлем того же года, так как в письме от 1 июля 1825 года московский почт-директор А. Я. Булгаков называет Полежаева «автором поэмы «Сашенька», что само по себе свидетельствует об уже достаточно широком распространении поэмы в московском литературном и близком к литературе кругу.

Автографа поэмы не сохранилось; списки, относящиеся к 1830—1840-м годам, имеют разночтения. В настоящем издании поэма дается по изданию *А. И. Полежаев.* Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с учетом издания *Александр Полежаев.* Сочинения. М., 1955, в котором использован список, дающий в отдельных строках более исправный вариант прочтения. Точками отмечены слова и строки, неудобные для печати.

К читателям (с. 106).

Помещенные впервые в издании 1955 года шесть заключительных строк обращения и известных только из рукописного сборника запрещенных стихотворений русских поэтов, датированного 1861 годом, нам представляются позднейшей припиской, причем сделанной не Полежаевым, а кем-то из читателей, уже знакомым с последующей судьбой поэта, с фактом доноса на него и не особенно искусным в версификации: стихи в отличие от предшествующих нечетки по смыслу («кто разносит / и доносит») и содержат нарушение размера («хочет принимать»).

Глава первая (с. 106).

V. *Ментор (греч.)* — воспитатель, учитель. Происходит от имени Ментора — воспитателя сына Одиссея Телемаха; широкую известность и качество нарицательного имя Ментора получило благодаря роману французского писателя *Фенелона* (1651—1715) «Приключения Телемаха», на русский язык переведенному стихами под названием «Телемахида» *В. К. Тредьяковским* (1703—1769).

Соломон (X век до н. э.) — царь Израильско-Иудейского царства; по преданию, отличался необычайной мудростью, считается автором некоторых книг, входящих в состав Библии. Здесь, в переносном значении: знаток.

VII. *Студента знатный чин* — в дореволюционной России студенты имели некоторые привилегии; успешно окончивший университет получал звание действительного студента, которое давало право на личное дворянство и классный чин.

Гёттинген, Вильно и Оксфорд — города, университеты которых имели репутацию лучших в Европе.

IX. *...козлиными брадами.*— Имеется в виду православное духовенство, обязанное носить бороды. Литературный источник этого выпада Полежаева против православного духовенства — антиклерикальное стихотворение М. В. Ломоносова «Гимн бороде».

X. *...в вицмундире.*— В отличие от парадной форменной одежды *мундира* повседневная форменная одежда называлась *вицмундиром* и могла ограничиваться лишь сюртуком. Бедные студенты имели обычно лишь вицмундир, так как форма шилась на собственные средства.

XI. *...крик цыганской «Черной шали».*— Романс А. Н. Верстовского на стихи А. С. Пушкина «Черная шаль» (1821) в 1820-е годы вошел в репертуар цыганских хоров.

XII. *Эпикур* — человек, считающий веселье и наслаждения смыслом жизни. Название произошло от имени *Эпикура* (342—270 до н. э.) — древнегреческого философа.

Царицей Пафоса — то есть богиней любви Афродитой (Венерой), которая, по древнегреческой мифологии, была рождена из морской пены у города Пафоса на острове Кипр.

...нимфы — в древнегреческой мифологии божества сил и явлений природы, имевшие облик прекрасных дев.

Амур — античное божество любви, спутник и посланец Венеры.

XIII. *Гераклит* (ок. 540—480 гг. до н. э.) — древнегреческий философ; одно из положений его учения утверждает, что страдание является закономерным и неизбежным элементом жизни.

XIV. *Сенека* (I в. до н. э.) — древнеримский философ.

Платон (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

XVIII. *...к мохнатым шельмам в хомутах* — *мохнатые* — презрительное прозвище духовенства.

XIX. *...обе книги* — «Ветхий завет» и «Новый завет», составляющие Библию.

Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ.

XXI. *Рафаэль, Санти* (1483—1520) — великий итальянский художник.

XXII. *...петиметры (франц.)* — франт, щеголь.

Бонтон (франц.) — человек хорошего тона.

XXIII. *Бахус (Вакх)* — в античной мифологии бог вина и веселья.

Момус (Мом) — в древнегреческой мифологии олицетворение злословия и насмешки.

Диана — в античной мифологии одно из главных божеств; богиня-дева покровительница охоты, плодородия, богиня Луны; изображалась в виде красивой юной девушки; в поэтическом языке начала XIX века — синоним неприступной девственницы. Употребление Полежаевым выражения «сладострастная Диана» ошибочно и объясняется тем, что поэт имел в виду только одно из качеств античного образа — ее юность и красоту.

XXIV. *Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай* — то есть дорогие вина: донское шампанское, рейнское вино и ямайский ром.

...сиволдай — просторечное название дешевой водки низкого качества.

XXV. *Деру «завесу темной нощи»* — цитата из поэмы В. И. Майкова (1728—1778) «Елисей, или Раздраженный Вакх», указывающая на один из главных литературных образцов «Сашки».

Ерофа, или *ерофеич* — водка, настоенная на травах.

XXVIII. *Приап* — в древнегреческой мифологии бог садов, полей, плодородия, а также сладострастия и чувственных наслаждений.

...мизогины (греч.) — женоненавистники.

XXIX. *Калипсо* — в древнегреческой мифологии нимфа острова Огигия, семь лет державшая в плену Одиссея.

XXX. *...контроданс* — название танца.

XXXI. *...ерыги — ерыга* — пьяница, мошенник; происходит от наименования низшего служащего полиции в допетровской Руси — ярыга, ярыжка.

XXXII. *Осаду нашу комитета* — в одном из списков поэмы имеется пояснение: «Дом «Человеколюбивого общества» на Арбате».

«Кто наглый там шуметь изволит?» — В этом эпизоде поэмы использованы некоторые выражения из поэмы В. Л. Пушкина (1770—1830) «Опасный сосед».

XXXIII и далее.

Сомов, Каврайский, Пузин, Надеждин, Калайдович, Жданов, Кушенский, Пель, Костюшка — студенты, соученики Полежаева по университету.

XXXIV. *Свирепых буфелей дозор.— Буфель* — презрительная кличка полицейских и будочников. От франц. «bouffon» — шут.

XXXV. *...капот* — шинель из толстой ворсистой байки — фриза, которую носили бедные чиновники и студенты.

«Mon cher!» (франц.).— Мой дорогой!

В рогатку закуют.— Рогатка — вид наказания: ошейник с рогами, которые не дают арестованному возможности лечь.

Глава вторая (с. 120).

II. *Изображение Петра* — памятник Петру I на Петровской (Сенатской) площади, вблизи которой находился почтамт, куда прибывали приезжие.

VIII. *...в отличной шляпе эластик* — шляпа из мягкого фетра.

X. *Фрейшица музыка — «Фрейшиц»* («Вольный стрелок») — опера немецкого композитора *К. Вебера* (1786—1826), шедшая в России под названием «Волшебный стрелок».

XI. *...fora (итал.)* — возглас одобрения в театре, означающий требование повторения.

Дюрова Любовь Осиповна (1805—1828) — талантливая петербургская актриса, очень любимая публикой.

Антонин — популярный танцовщик, служивший в

1820-е годы в петербургском театре. Современник писал о нем: «Антонин такие делал прыжки, что казалось, пролетит сквозь кровлю театра».

XIV. *Моро* Жан-Виктор (1763—1813) — французский генерал, политический противник Наполеона, был выслан из Франции, находился на русской службе, участвовал в боях против Наполеона, смертельно ранен в битве под Дрезденом.

Ней, Мишель (1769—1815), *Даву* (1770—1830) — маршалы Франции, сподвижники Наполеона.

XV. *Мильонная* — улица в Петербурге.

XVII. *Café de France (франц.)* — название кафе «Французское кафе».

...á la coq (франц.) — как петух.

XVIII. *От Каратыгина зевай* — Каратыгин, Петр Андреевич (1805—1879) — известный петербургский комический актер, водевилист.

...вакштаф (нем.) — сорт трубочного табака.

Эпилог (с. 129)

И на меня, как корифея — корифей (греч.) — в древнегреческой трагедии — руководитель хора. Здесь: певец.

Чудак (с. 129).

Поэма напечатана впервые в книге «Стихотворения А. И. Полежаева». М., 1832. Нам представляется доказательным мнение В. И. Безъязычного (*А. Полежаев.* Сочинения. М., 1955, с. 445) о датировке поэмы 1825—1826 годами.

Улан — уланы — легкая кавалерия.

...корнет — наименование одного из младших офицерских чинов в кавалерии; аналогичный армейский чин — подпоручик.

Эрпели (с. 133).

Впервые напечатано в книге «Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева». Москва, 1832, с относящимся к обеим поэмам эпиграфом: «Evil be to him that evil thinks» *(англ.)* — «Позор тому, кто думает об этом дурно».

Глава I (с. 133).

Грозная — русская крепость на реке Сунже; административный центр левого фланга Кавказской линии.

...егерских солдаток — егеря — легкая пехота, которая, как правило, действовала в рассыпном строю и отлича-

лась меткой стрельбой; егеря были вооружены более легкими ружьями, чем гренадеры и обычная пехота. В Грозной находился штаб егерской дивизии.

...на форштадте — форштадт (нем.) — солдатская слобода возле крепости.

Розен, Роман Федорович — командир 14-й дивизии, в которую входил и полк Полежаева.

...гусиный квас — т. е. вода.

...служителям Беллоны — воинам. *Беллона* в древнеримской мифологии — богиня войны.

...глубокомысленные Канты — Кант И. (1724—1804) — великий немецкий философ-идеалист, его философия отличается глубиной и сложностью.

Глава II (с. 136).

...ковыль с мордвинником растет — мордвинник (правильнее — *мордовник)* — многолетнее травянистое растение с колючками на листьях, похожее на чертополох.

...куда ваш славный воробьевский — имеется в виду песок с Воробьевых (ныне Ленинских) гор в Москве, отличавшийся мелкостью и отсутствием примесей; песком посыпали написанный чернилами текст, чтобы он скорее высох.

Сулак, Сунжа, Терек — реки в Дагестане и Чечне.

Яуза, Неглинная — реки в Москве, протекающие в черте города, притоки Москвы-реки.

Костеки, Ташкичу — населенные пункты в Дагестане.

Глава III (с. 140).

...кунак (тюрк.) — друг.

...яман (тюрк.) — плохо.

...якши (тюрк.) — хорошо.

...воевали под Аджаром — Аджар — местность в Закавказье.

Андреевская (Эндери) — селение в Северном Дагестане.

...мирнóй — так называли горцев, подчинившихся русским властям и не ведущим против них борьбы.

Глава IV (с. 143).

...шамхал — титул феодального правителя Дагестана, подчиненного России; резиденция шамхала находилась в селении Тарки.

...могоги — здесь: дагестанские феодальные князья; по библейскому сказанию, наименование царей ассирийских; в переносном значении, употребляемом уже в Библии,— люди, не верующие в бога.

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — выдающийся русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года; в 1816—1827 годах занимал пост главноуправляющего Грузией и командующего отдельным Кавказским корпусом; удален Николаем I с Кавказа по подозрению в связях с декабристами.

Граббе — видимо, имеется в виду генерал-майор *К. К. фон Краббе* — военно-окружной начальник Дагестана.

Истамбул — турецкое название Константинополя, столицы Турции, поддерживавшей горцев в их борьбе против России.

...льва тавризского связав — лев — государственная эмблема Персии; имеется в виду выгодный для России Туркманчайский мирный договор, заключенный в результате русско-персидской войны 1826—1828 годов.

Кази-Мулла, или *ших-Гази-хан-Мухаммед* (1785—1832),— первый имам — духовный и светский глава мусульман Чечни и Дагестана, вождь мюридизма — борьбы горцев против России.

...стращал их пагубною бритвой — по мусульманским верованиям, души умерших правоверных проходят в рай по мосту, который для грешников становится узким, как лезвие острого меча.

...якобинцы — крайняя левая партия деятелей Великой французской революции.

Глава V (с. 147).

...между узких дефилей — дефиле (франц.) — ущелье в горах.

Глава VI (с. 153).

Йогеля урок — Йогель Петр Андреевич (ок. 1776—1855) — известный московский учитель танцев, обучавший детей и подростков.

...подобно У...ну — Уткин Алексей Васильевич (ум. 1836) — художник, автор портрета Полежаева, в 1834 году арестован по одному делу с Герценом и Огаревым, заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер.

...кизильбаши (тюрк.) — «красные головы», название персидских воинов, носивших на чалме красные ленты.

Кафир-Кумык, Казанища Большие и Нижние — селения в Дагестане.

Глава VII (с. 156).

...джелоны — металлические украшения конской сбруи.

Ибрагим-бек и *Ахмет-хан* — горские феодалы; находясь на русской службе, первый командовал горской конницей, второй — пехотой.

Глава VIII (с. 161).

...аманаты (тюрк.) — заложники.

...яур (гяур) — неверный; так горцы-мюриды называли русских.

Чир-Юрт (с. 166).

Песнь первая (с. 166).

...своих ничтожных эвменид — эвмениды — в древнегреческой мифологии — богини возмездия; неотвратимо поражающие своим гневом клятвопреступления, забвение гостеприимства и особенно убийство.

...питомец Аполлона — поэт. *Аполлон* — в античной мифологии — бог искусств и поэзии.

Арак-су — река в Дагестане.

...пророк неистовый — Кази-Мулла.

Эндери, Маюртупе, Кошкильди — горские селения, при взятии которых происходили ожесточенные бои.

...линейных — из частей, стоящих на *линии* — границе.

Греков Николай Васильевич (1789—1825) — генерал, командир егерского полка, убит чеченцами.

Бей-Булат — чеченец, известный на Кавказе в 1820-е годы разбойничьими набегами, перешел на сторону русских и был убит своими кровниками.

...en grand, плие, на пе — термины карточной игры.

...сказал любимый наш поэт — имеется в виду А. С. Пушкин, приведенные строки имеются в первом издании (1828 г.) IV главы «Евгения Онегина» в строфе XXXVI, в последующих изданиях исключенной.

Вельяминов Алексей Александрович (1788—1836) — генерал-лейтенант, один из крупнейших военачальников, участвовавших в кавказской войне; участник антинаполеоновских войн 1805—1807 годов, Отечественной войны 1812 года; друг А. П. Ермолова.

...горский Ганнибал — т. е. А. А. Вельяминов. *Ганнибал* (247—183 до н. э.) — полководец и государственный деятель Карфагена; в числе самых известных, принесших ему славу военных операций был переход карфагенской армии через Альпы и вторжение в римские владения; этот эпизод военной деятельности Ганнибала имел в виду Полежаев, сравнивая с ним Вельяминова.

«Куда ведет вас барабанщик» — обычный ответ Вельяминова на вопрос о маршруте похода.

...наскуча длинным рамазаном, / Байрам веселый встретил я.— Рамазан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого мусульманам предписывается соблюдать ежедневный строгий пост. *Байрам* — мусульманский религиозный праздник, отмечаемый после поста.

...абазы — серебряные монеты.

...потомки Авраама — евреи. *Авраам* — по библейской легенде — мифический родоначальник евреев.

Голиаф — герой библейской легенды, великан, убитый юным Давидом — будущим царем Иудеи.

Песнь вторая (с. 180).

...певец Гюльнары — Байрон Д.-Г. (1788—1824) — великий английский поэт; *Гюльнара* — героиня его поэмы «Корсар»; умер в Греции, в которую приехал, чтобы принять участие в борьбе греков против турецкого ига.

...салатовец — житель гор Салатау.

...гул единорога — единорог — старинное название русских пушек типа гаубиц различного калибра; происходит от изображения фантастического зверя — единорога, встречающегося на русских пушках XVI века; название официально сохранялось до середины XIX века.

Засс Григорий Христофорович (1797—1883) — генерал, командир Моздокского казачьего полка; с 1834 года командующий Кубанской линией.

...князь Черкасский — Бекович-Черкасский Ф. А. (1791—1832) — генерал, по происхождению кабардинец.

...приводят в трепет мизраима — мизраим — здесь: мусульманин; в Библии — имя родоначальника арабов, также — название египтян.

...мизантроп (греч). — человеконенавистник.

Кладбище Герменчугское (с. 194).

Герменчуг — самое крупное селение Чечни, находится на реке Аргун. Штурм Герменчуга, в котором участвовал Полежаев, состоялся 23 августа 1832 года.

Зачем чугунное ядро, / Убийца Карла и Моро.— Карл XII (1682—1718) — король шведский, убит пушечным ядром во время войны с Норвегией в сражении при Фредериксхалле. *Моро, Ж.-В.* (1763—1813) — французский генерал на русской службе, политический противник Наполеона, смертельно ранен ядром в битве под Дрезденом в августе 1813 года.

...славный Пор, без укоризны, / Был к Александру справедлив — Пор (Партавака) (2-я половина IV в. до н. э.) — царь небольшого индийского государства, в 326 г. был разбит и пленен Александром Македонским; впоследствии назначен вассальным правителем некоторых завоеванных Александром Македонским индийских земель.

«ПАМЯТЬ ДОБРЫХ О ПОЭТЕ...»

А. И. Полежаев в воспоминаниях и отзывах современников

А. И. Герцен. А. Полежаев (с. 202).

Очерк является «прибавлением» (по терминологии самого автора) к главе VII части 1-й «Былого и дум». Печатается по тексту: *Герцен А. И.* Собр. соч. в 30 т., т. 8. М. Изд-во АН СССР, 1956, с. 165—168.

Николай отпраздновал свою апотеозу.— Апотеоза — старинная форма слова «апофеоз»; в античном мире — обряд отдания божеских почестей императору; здесь имеется в виду главный акт церемонии коронации Николая I, по традиции происходящий в Успенском соборе Московского Кремля.

Fête-Dieu — праздник культа в честь «Верховного существа», введенный во время якобинской диктатуры и призванный заменить веру в бога этой «гражданской религией». Празднества сопровождались усилением террора против внутренних врагов.

Князь Ливен — ошибка памяти Герцена, пост министра народного просвещения в 1826 году занимал А. С. Шишков.

Дибич Иван Иванович (1785—1831) — барон, генерал-фельдмаршал, начальник Главного штаба, в его обязанности входила организация политической слежки.

«Без утешений» — неточная цитата из стихотворения Полежаева «Провидение».

«К сивухе».— Целиком стихотворение неизвестно. В. Е. Якушкиным в 1897 году напечатан отрывок из него, принадлежность которого Полежаеву современными исследователями подвергается сомнению.

Евгений Белозерский. К биографии поэта А. И. Полежаева (с. 205).

Опубликовано в журнале «Исторический вестник», 1895, кн. 11; печатается по этому изданию.

...дворовой девушкой Степанидой Ивановной — ошибка, мать Полежаева звали Аграфеной Ивановной.

Е. И. Бибикова-Раевская. Встреча с Полежаевым (с. 208).

Опубликовано в журнале «Русский архив», 1882, т. VI. Печатается по этому изданию.

Бибикова Екатерина Ивановна (1818—1899) — в замужестве Раевская,— художница-любительница, опубликовала ряд литературных очерков-воспоминаний под псевдонимом «Старушка из степи» (в том числе и воспоминания о Полежаеве) и под фамилией Раевская.

К. Н. Макаров. Воспоминания о поэте Полежаеве (с. 217).

Опубликовано в журнале «Исторический вестник», 1891, кн. 4; печатается по этому изданию.

Макаров Николай Петрович (1810—1890) — писатель, мемуарист, составитель двуязычных словарей: французско-русского, русско-французского, немецко-русского, русско-немецкого, выдержавших более двадцати изданий. По некоторым сведениям, автор стихов известного романса «Однозвучно гремит колокольчик».

Л.-Ленц Владимир Иванович (? — 1852) — артиллерийский офицер.

Якубович Лукиан Андреевич (1805—1839) — поэт, сотрудник пушкинского «Современника», «Литературной газеты», «Северных цветов» и других периодических изданий; учился в Благородном пансионе при Московском университете, был связан с Полежаевым многолетней дружбой, ему посвящено стихотворение Полежаева «Прощание с жизнью» (1835 г.) и его же перевод стихотворения Ламартина «Восторг» (1826 г.).

В. Г. Белинский. <Стихотворения Полежаева.> (с. 220).

Статья напечатана в журнале «Отечественные записки», 1842, т. XXII, № 5; в журнальной публикации заглавия не имеет; в настоящем издании печатается по книге: *В. Г. Белинский.* Полн. собр. соч., т. 6. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 119—160; дается в сокращении: опущены и отмечены многоточием, заключенным в угловые скобки, цитируемые целиком стихотворения Полежаева, не связанные с развитием какого-либо положения критика; к подобной цитации Белинский прибегал для того, чтобы читателю, которому рецензируемая книга может быть недоступна, дать возможность познакомиться с ней как можно полнее.

Курсив в статье везде принадлежит Белинскому.

1. *Эпиграф* из стихотворения «Вечерняя заря»; цитата приводится не по сборнику, а по первой публикации в журнале «Галатея» (1829, № 3), где в предпоследней строке содержится опечатка, исправленная в отдельном издании: правильно — «К шумной воле любовь»; видимо, Белинский цитирует по памяти, так как это стихотворение он знал по первой публикации и цитировал его в 1829 году в письме к чембарским друзьям Ивановым.

...феноменология духа — термин философской системы великого немецкого философа-идеалиста *Г.-В.-Ф. Гегеля* (1770—1831), означающий учение о развитии науки и знания, ставящее целью представить различные формы, которые принимает сознание в истории своего развития.

...увлекся звоном рифмы — здесь Белинский полемизирует с Н. Полевым, который в одной из статей утверждал, что Языков погубил «свое дарование звоном стихов».

...поэт барабанит своими гладкими и звучными стихами — имеется в виду *Н. М. Языков* (1803—1846), далее приводятся выражения из его стихотворений.

Другой, пожалуй, пропищит.— Имеется в виду стихотворение *С. П. Шевырева* (1806—1864) «Чтение Данта», в котором содержатся следующие строки:

«Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!»

...пармезан — сорт сыра, употребляемый как приправа к макаронам.

«Призывать вдохновения на высь чела, венчанного звездой» — цитата из стихотворения С. П. Шевырева «На смерть поэта».

...станет воспевать грудь — далее идут выражения из разных стихотворений *В. Г. Бенедиктова* (1807—1873).

«В мертвящем упоенье света...» — цитата из VI главы «Евгения Онегина» по первому изданию романа (1828), впоследствии почти весь отрывок был перенесен автором в «Примечания».

2. Цитата из стихотворения «Песнь погибающего пловца».

3. Цитата из стихотворения «Песня» («Зачем задумчивых очей...»).

4. Цитата из стихотворения «Черные глаза»; книжная публикация по сравнению с первой журнальной («Московский наблюдатель», 1832, ч. XVI) имеет некоторые разночтения; Белинский цитирует журнальный вариант.

5. См. настоящее издание, с. 100.

6. См. настоящее издание, с. 56.

7. См. настоящее издание, с. 61.

8. В советских изданиях печатается под названием «Ренегат» (отрывок из поэмы «Гарем»). Белинский, зная сам факт цензурного вмешательства в текст, видимо, не знал запрещенных фрагментов, которые подверглись запрещению с точки зрения не нравственности, а религии. Например, строки об отказе от христианской веры:

> «О, прочь с груди моей, исчезни знак священный,
> Отцов и дедов древний крест!»

9. Стихотворение «Из VIII главы Иоанна» («Грешница») в рецензируемые сборники не вошло и было известно Белинскому из других источников, возможно, из публикации в «Литературных приложениях к Русскому инвалиду», 1838, № 20.

10. См. настоящее издание, с. 32.

11. Далее цитируется целиком «Вечерняя заря». См. настоящее издание, с. 30.

12. Стихотворение «Провидение». Белинский цитирует с пропуском отдельных строк.

13. Приводя стихотворение целиком, Белинский выделяет следующие строки, как «плохие до бессмыслицы»:

«Его на миг я разлюбил (?):
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил (??)!
...Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой (?)!
...Под маской дикого невежды (?!)».

14. См. настоящее издание, с. 78.

15. См. настоящее издание, с. 33.

16. Под таким названием стихотворение напечатано в сборнике «Арфа»; авторское название — «Духи зла». См. настоящее издание, с. 69.

17. Авторское название «Тюрьма». См. настоящее издание, с. 95.

18. Стихотворение «Погребение». См. настоящее издание, с. 29.

19. См. настоящее издание, с. 37.

Медитация — размышление, рассуждение.

Ламартин Альфонс Мари Луи (1790—1869) — французский поэт-романтик; автор поэтических сборников «Поэтические размышления» (1820), «Новые поэтические размышления» (1823).

20. Стихотворение «Тарки».

«Оскар Альфский» — поэма Байрона.

Делавиль, Казимир (1793—1843) — французский поэт.

...какого-то большого стихотворения Полежаева — в «Галатее», 1830, ч. XII напечатан начинающийся цитируемыми строками «Отрывок из поэмы «Узник». В настоящее время эта поэма, описывающая пребывание Полежаева в тюрьме Спасских казарм, печатается под названием «Александру Петровичу Лозовскому» («Ты мне чужой, не с давних лет...»).

Полежаев и Веневитинов — *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) — русский поэт; сближение этих имен содержит также намек на общность их судьбы: в обществе ходили слухи о том, что ранняя смерть Веневитинова связана с расправой над декабристами.

В тексте статьи Белинский много раз повторяет, что Полежаев сам виновен в собственных несчастьях, эта оговорка сделана специально для цензуры.

Н. А. Добролюбов. Стихотворения А. Полежаева (с. 244).

Впервые рецензия напечатана в журнале «Современник», 1857, кн. IX.

В настоящем сборнике печатается по изданию: *Н. А. Добролюбов.* Собр. соч. в 3 т., т. 1. М., ГИХЛ, 1950, с. 417—422.

...портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений.— К изданию 1857 года был приложен портрет Полежаева в солдатской форме.

1. Цитата из стихотворения Полежаева «Негодование».

2. Цитата из стихотворения Полежаева «Отрывок из письма к Александру Петровичу Лозовскому»; в издании 1857 года оно имеет название «Чахотка».

...вроде поручика Пирогова.— Поручик Пирогов — герой повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» — тип легкомысленного искателя любовных приключений.

3. Из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».

4. Из стихотворения А. Полежаева «Провидение».

5. Из стихотворения А. Полежаева «К моему гению».

6. Из стихотворения А. Полежаева «Черные глаза».

7. Из стихотворения А. Полежаева «Песнь погибающего пловца».

8. Из стихотворения А. Полежаева «Цепи».

9. Из стихотворения А. Полежаева «Тоска».

Н. П. Огарев. Предисловие <к сборнику «Русская потаенная литература». Лондон, 1861> (с. 251).

Печатается по изданию: *Н. П. Огарев.* Избранные произведения в 2 т., т. 2. М., ГИХЛ, 1956.

...гамлетовский подземный крот — имеются в виду слова Гамлета из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (I акт); кротом он называет Призрака, голос которого неизменно раздается из-под земли в том месте, где останавливается Гамлет.

...рука дикого каменного гостя — имеется в виду трагедия А. С. Пушкина «Каменный гость» (1830), в которой образ каменного памятника Командора — «каменного гостя» символизирует собой не только возмездие, но и губительную власть отжившего, мертвого над живым; именно последнюю черту образа подчеркивает Огарев, называя «каменным гостем» Николая I.

1. Из стихотворения А. Полежаева «Утренняя заря».

«Пора губить врага Украйны» — строка из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко» (фрагмент «Исповедь Наливайки»), предыдущие слова также являются скрытой цитатой. У Рылеева:

«Пора! — мне шепчет голос тайный,—
Пора губить врагов Украйны!»

«Арестант» — под этим названием печатался отрывок из стихотворения Полежаева «Александру Петровичу Лозовскому» (1829).

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, романист, драматург; в прогрессивных и либеральных кругах русского общества подвергался критике за официально-патриотическое направление его драм «Рука всевышнего отечество спасла», «Князь Скопин-Шуйский».

...«родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка» — имеются в виду первые строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина»:

«Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой».

А. А. Григорьев. Из воспоминаний о 1830-х годах (с. 254).

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, выдающийся литературный критик.

В настоящем издании отрывки из воспоминаний «Мои литературные и нравственные скитальчества» печатаются по изданию: *А. Григорьев.* Воспоминания. Л., «Наука», 1980, с. 6, 36—39 (в тексте обозначены цифрой I); отрывки из статьи «Западничество в русской литературе» — по изданию: *А. Григорьев.* Эстетика и критика. М., Искусство, 1980, с. 218—219 (в тексте обозначены цифрой II).

«...значенье / Темно иль ничтожно» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье» (1840 г.).

...варламовские звуки — *Варламов* Александр Егорович (1801—1848) — композитор, автор популярных романсов «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий» и др.

Sturm und Drang Periode (нем.) — период «Бури и натиска».

Клингер Фридрих Максимилиан (1752—1831) — немецкий писатель-романтик, автор драмы «Буря и натиск», давшей название одному из периодов немецкого романтизма; в 1780—1831 гг. жил в России.

...гелертер (нем.) — ученый-книжник, чьи знания оторваны от жизненной действительности.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэмы

«Память добрых о поэте...»
А. И. Полежаев в воспоминаниях и отзывах современников

ИБ № 1772

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *Н. Никишин*
Художественный редактор *Г. Комзолова*
Технический редактор *Г. Смирнова*
Корректоры *Т. Горячева,*
Е. Коротаева, И. Сахарук

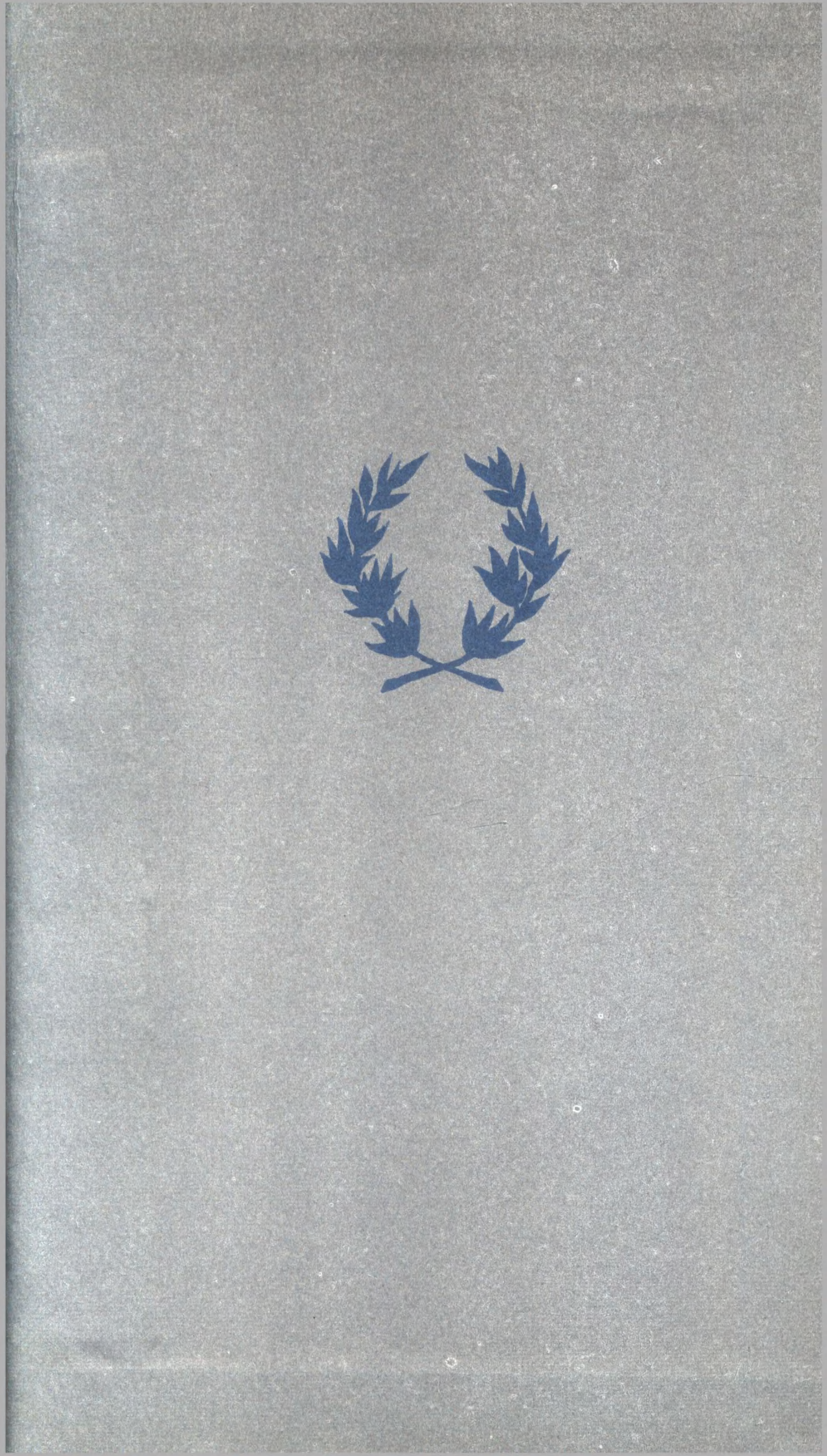
Сдано в набор 11.05.81. Подписано к печати 22.07.81. Формат $84 \times 100^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 14,09. Уч.-изд. л. 15,68. Тираж 100 000 экз. Заказ 1213. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий».
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ормат
енная
15,68.





1р. 40к.


А.И.ПОЛЕЖАЕВ